
Самит АЛИЕВ

ВСЕЙ СОДРАННОЙ КОЖЕЙ

Повесть

...Самая большая опасность — это не глобализация, не экономический кризис, не массовые эпидемии и даже не война. Самое опасное — это превращение народа в толпу мамедов, джонов или иванов, что родства не помнят и знать не хотят. Потому что родства не помнящему быть .таки биту, драну и сзади пользовану...

Вступление

...И слышно страшное в судьбах наших поэтов.
Н. Гоголь

...Садись поудобнее, разлюбезный читатель, устраивайся, не стесняясь, я поделюсь с тобой соображениями, мыслями, последними и не очень новостями, ощущениями, чаяниями, надеждами да предчувствиями. Чай у меня, дорогой друг, горячий, скорость ветра пять метров в секунду, совершенно не ветер по бакинским меркам, так, бриз легчайший, время близится к рассвету, а за окном целый 1417 год... в Баварии как раз закончилась эпоха правления королевы Изабеллы, в Бухаре открылось медресе Улугбека, начался исход цыган из Византийской империи (точнее, из того, что от нее осталось), в Европе правят целых три римских папы, Русь выкашивает эпидемия чумы, занесенная купцами из прикаспийских степей, а Василий Первый в договоре, подписанном с Ливонским орденом, назван «императором Русским»... но это все в Бавариях, Бухарах и Россиях, тем временем же в далеком Халебе, что ныне, на территории Сирии находясь, Алеппо называется, казнен Имадеддин Насими... казнен жестоко, с громогласным зачитыванием приговора, объяснением причин и при большом скоплении народа... сразу после зачтения, подведя солидную юридическую базу, помолились и приступили... к снятию кожи... заживо, без какой-либо анестезии, асфиксии или предварительного главы усечения... голова была отделена от туловища чуть позже... самую малость подождали, а как только ободрали начисто, так и отсекли да послали куда надо, во устрашение... во имя торжества закона и чтобы последователям неповадно было, знайте, мол, и не дерзайте более казненного... не только, наверное, для устрашения последователей... все, по-моему, было гораздо прозаичнее, а еретические

Самит Салахаддин оглы Алиев родился в г. Ленкорани Азербайджанской ССР в 1975 году. Окончил Институт иностранных языков (переводчик с английского). Автор нескольких книг, за одну из которых («Семь шагов в направлении заката») в 2010 году был удостоен Национальной книжной премии (Азербайджан). Живет в г. Баку.

* Журнальный вариант.

высказывания, стихи горячительные да голова с мыслями, что ногам покоя не давали, были всего лишь поводом... каюсь, повесть полна неточностей, выдумок, анахронизмов и передергиваний, потому что все это всего лишь версия... которая тоже имеет право на существование, и, клянусь Аллахом, она ничем не хуже прилизанно-официальной или кинематографической... хотя, безусловно, образ Насими, созданный на экране великолепным Расимом Балаевым, не мог не оказать влияния на мою работу... знаешь, читатель, я ведь тоже на самом деле очень старался... а если где приврал или передернул, то вы уж простите... да и вообще очень может быть, что это вовсе не про того Насими, не про канонического, а про его одноклассника — такое иногда случается...

1

...В ходе строительства не имеющей аналогов в мире подземной автостоянки, полностью соответствующей самым высоким мировым стандартам, памятник выдающемуся поэту Средневековья Имаддину Насими был демонтирован и увезен в неизвестном направлении. Хочется надеяться, что по завершении строительства его вернут на прежнее место, куда он когда-то был поставлен проклятой советской властью...

Новейшая история Азербайджана

Вопреки моим ожиданиям и отвратительным предчувствиям, как то: переплавка, продажа на сторону, забвение на каком-нибудь складе, потеря документов, идеологическая диверсия, распилили, сломали, пропили, украли, нету, не было, больше не будет, больше не нужен, усушка, утруска, реорганизация или историческое постановление очередного съезда насчет его, Насими, вредности, чуждости и несоответствия — памятник был водружен на прежнее место.

(Высовывая всклокоченную и раскалывающуюся после вчерашнего голову из-под подушки, оглядывая царящий в комнате беспорядок, на лице целая гамма чувств — от желания снова заснуть до полного понимания необходимости окончательно проснуться.)

- И чего ты там с утра пораньше шумишь?
- (Слегка обиженно.) Я мурлыкаю.
- (Чуть извиняющимся тоном только что проснувшегося человека.) Понял. А все же что это?
- По-моему, «Бэла, не ломайся».
- Нет, я проснулся оттого, что там было что-то связанное с котами...
- А-а-а, это «пижоны поправляют свой кис-кис».
- Свой чего поправляют?
- Кис-кис. Галстук-бабочка такой, на резинке... не знал?
- Не-а... ни за что не подумал бы...
- Ты все равно хороший...
- Я знаю... все еще начинающий и никак не перестающий быть перспективным. Холостой потому что, наверное...
- Дурак ты...
- Очень может быть... «а в тридцать три распяли, но несильно».

- Чье это?
- Дядя один... в восьмидесятом году умер...
- Меня тогда даже не было...
- Еще бы... если б ты тогда уже была, я б придушил тебя подушкой, за то, что Высоцкого не знаешь.
- Так это Высоцкий, — слегка протяжно и чуть разочарованно.
- Прощаю на этот раз. Как-нибудь подарю тебе книжку на память.
- В день, когда я от тебя уйду?
- С полуслова понимаешь... так я и расставаться раздумую...
- А если подушкой по морде?
- Да? А только что я был хорошим.
- А теперь плохой... злой потому что...
- А если я обниму? Только целовать не буду, потому что зубы нечищенные. Позже обещаю даже умыться.
- А потом расскажешь мне что-нибудь?
- Например?
- Вчера ты начал рассказывать что-то про двух странников, а потом запутался, заврался, проговорился насчет того, где был позавчера, и тихо съехал на другую тему.
- Ну, прокололся, с кем не бывает. Будет тебе про странников...
- <...> Ты лучшее, что было со мной... не предавай меня...
- Бедная девочка... если это лучшее, что с тобой было... воображаю твое прошлое... галеры, рудники и каменоломни?
- Не понимаешь ты ничего...
- Прости... знаешь... может, тебе лучше домой поехать? Я тебя на такси посажу...
- Я хочу остаться... не гони меня...
- Хорошо... оставайся... и прости меня за все... я ведь только беру и почти ничего не даю тебе взамен...

2

Пищит вода, гуляет Восток,
Ухмыляется Запад,
Контрабандист.

ДДТ. Беда

Так и жил Восток, тем и дышал Восток, так веками и стоял Восток, покупая и продавая, продавая и подкупая, травясь Европой и травя оную, глотки взрезал, свою при случае подставляя, кровью крестился, мечом обрезался, песок, под ногтями застрявший, зубами выковыривал, скалился юродиво и всех юродиво скалящихся уважал, сам веселился и всех окрест веселил, удивлял и дивился, душил и давился, образцом был и образом, когда молил, а когда и молился, где-то стирал, а где-то стирался, народы переселял и сам все куда-то переселиться норовил. Странное место, страшное место, завораживающее, манящее, отталкивающее.. то степь, то сад, то горы, то песок, то земля плодородная, то испарения зловонные, то городишко препаршивый, Богом Всевышним напрочь забытый, а то и город огромный, людьми, Господом умудренными, на зависть всему миру и Ему же на славу строенный. И ходили по нему веками люди странные, люди ухмыляющиеся, то печальные, то веселые, то смеялись громко, то плакали тихо, ходили люди, дома-пристанница не имеющие, на день всякий лишь о нем и заботящиеся, припасов не делаю-

щие, одежд не латающие, ходили люди в колпаках войлочных, с бородами нечесаными да волосами ниспадающими, из города в город, из селения в селение, изо дня в день да из ночи в ночь, раскачивались мерно, молились некаждодневно, то пренебрегут, то возле костра забудут, но зикры-восхваления повторяли ритмично, в одну точку уставясь. Дадут хлеба в селении — спаси Господь подавшего, а не дадут — и то беда невелика, ведь у странников живот вольный, а целый день без пищи, до самой до темной ночи, и за пост сойдет, и очень может быть, что для мира иного во благо запишется...

...И, осадив Халеб, он поклялся не проливать ни единой капли мусульманской крови, если жители сдадутся ему без боя. И слово свое сдержал, всех христиан и иудеев перерезал, а мусульман закопал в землю живьем, сатанинское отродье... жуткий у него взгляд, словно он не на тебя смотрит, а самое твое естество глазами-углищами насквозь прожигает. Он рыжий и синеглазый, и ликом совсем не монгол, лицом он то ли из курдов, то ли из лазов будет, а может, и тюрок, кто ж тут разберет, сколько в человеке кровей намешано... Аллах его ведаёт... потому Чингизиды его и не любят, хотя в нем намного больше от их Великого Предка¹, нежели во всех них, вместе взятых. А титул у него — всего лишь «великий эмир» при хане... он милостив до странствующих и иногда щедро оделяет тех, кто отличился при нем в религиозных спорах, серебром. Хромой почему-то не любит золота, совсем не думая о том, что вкусы святых странников могут отличаться от его собственных. Но да хранит Аллах голову того, кто его разгневает, мстителен Хромой: «Обижали меня во время младости моей — исказню души и тела ваши в пору зрелости своей» — так шепотом ввали да выдумки друг другу два дервиша пересказывали... сидели двое возле костра да медленно черствые лепешки с курутом² пережевывали. «Говорят, что, когда умер его любимый сын, Джихангир, Хромой три дня не показывался на людях, молился в одиночестве, плакал, грыз хорасанские³ ковры и жилы на собственной руке, а по истечении трех дней вышел из юрты, умыл лицо и погладил рыжую бороду, после чего поклялся при всем войске, что уморит Смерть голодом, не дав ей унести ни одну душу, взвалив эту заботу на свои плечи. Он не пишет по-арабски и почти не говорит на языке Благородного Свитка⁴, хотя знает его почти наизусть. За это его и ненавидят улемы. Как только Хромой стал эмиром, с полдесятка длиннородых в чалмах отправились на плаху за то, что, побуждаемые корыстью и властолюбием, лгали людям, выдавая собственные измышления за слова Аллаха и Его пророка». Говорить приходилось шепотом, потому что под любым камнем, за любой скалой и в любом караване мог оказаться джасус⁵ эмира. Первый собеседник был чернявый, с быстрыми глазами цвета спелой вишни, второй дервиш — глазами посветлее, осанистый, с бородой, слегка подкрашенной хной. Одинаковые хурджины⁶, сшитые из старых ковриков, покрытые придорожной пылью лица, и головы необнаженные, на одном — чалма старая, на другом — колпак войлочный, когда-то белый, цвета молока с сахаром, да вышел весь: сахар съели, а молоко выпили... Много их, бродяг, шлялось тогда по всему Востоку взад и вперед, некоторые доходили до королевства венгров, а один, говорят, добрался до самого Бремена, где его обязательно сожгли бы на костре за обре-

¹ Чингисхан.

² Сухой сыр.

³ Область в Иране, в древности славилась коврами на весь Восток.

⁴ Коран.

⁵ Шпион.

⁶ Сумка.

занство, неарийство и вообще сарацинство, если б его чуть раньше не прикончила то ли простуда, то ли какая-то вирусная инфекция. Не стоит смотреть на историю Средних веков как на арену постоянной войны между крестом и полумесяцем. Воевали, конечно, но и торговали, шпионили, путешествовали и даже ездили друг к другу в гости, когда позволяла погода и относительное спокойствие на дорогах. Послы пользовались правом неприкосновенности, которое иногда распространялось и на купцов. Впрочем, две эти должности порой с легкостью совмещались одним и тем же человеком, который вместе с шелковыми тканями, мускусом и полудрагоценными камнями носил в заплечном мешке верительные грамоты «От Повелителя Востока Владыке Запада, написанному верить, с уважением, купец Мойша». Веротерпимость же мусульманских правителей не объяснялась их приверженностью гуманизму и общечеловеческим ценностям. Все было намного проще: перед лицом всекарающего кулака все морды были одинаково бесправны, и как ты молишься Господу-Вседержителю — дело твое, только подати вовремя плати, а всякой харе в нужный момент оплеуха гарантирована. Налоги — деньгами, женщин — в гаремы и десятину — кровью, в случае чего, если один Владыка Востока решил дать промеж глаз другому Владыке того же Востока, владеющему в непосредственной близости...

Дервиши шли в Диярбекир⁷, но на дорогах было беспокойно, вот они и задержались здесь, в предгорьях. Путь неблизкий, и идти приходилось, опасаясь: Тимур начал войну с турками, и любого путника, идущего с Запада, запросто могли посадить на кол, с сомнением, не соглядатай ли. У Хромононого это быстро делалось — хоп — и сиди на смазанном гуйругом⁸ острие, пока оно из горла не вылезет... не посмотрят ведь, что дервиш: аркан на шею — и к кадию⁹, на предмет проверки благонадежности. Когда на кольях вокруг трона так много задниц, что от их смрада приходится носы затыкать, — это есть первейший знак, что вокруг все лица одинаково плоды равноправия вкушают и тем наслаждаются. Одному кол, другому плаха. Чтоб никому за свое сиротство обидно не было. И власть Хромого никого своим вниманием не обделит и обязательно уважит, да хранит нас Всевышний от люто́сти ее...

— А как зовут тебя, странник?

— Называй меня Имадеддин.

— Хм... Слышал я об одном Имадеддине... это имя у многих на устах... После недавних событий... Сейид-Али?

— Да. И что же ты слышал? Все больше ругали? Или награду обещали, если скажешь, где его в последний раз видел?

— Не, упаси Аллах... так, слышал о человеке... поэт, мол, безумно влюбленный... и быстро бежавший...

— Быстро бежавший... То-то я смотрю, как ты, караван завидев, спрятаться норовишь... то в овраг свернуть, то в барханах схорониться... А как твое имя?

— Называй меня Ходжа...

— Ходжа... Учитель... А не слишком... громко, а?

— Я наблюдал за тобой, поэт... просто случая поговорить не было...

— И?..

— Может, потом как-нибудь расскажу... а пока — Ходжа...

— Ну научи, учитель... чему-нибудь... из того, чему людей учишь...

— Ты и без меня ученый... твои стихи весь Восток наизусть читает... я ведь тебя

⁷ Город в Турции.

⁸ Бараний жир.

⁹ Кадий (казы) — судья.

сразу узнал, ученик Фазлуллаха, разорванного конями... Поэт в колпаке белом, в колпаке войлочном... бежишь от Тимура?

— Нет... просто иду навстречу тому, что обязательно должно случиться... рано или поздно...

— На твоём месте да с твоей славой я бы от этого «должно случиться» держался б подальше...

— Я могу видеть будущее...

— А я могу его предсказывать... иногда, конечно... дождешься ты, Насими из Ширвана¹⁰... впрочем... таких, как ты, ценят... может, пристроишься при дворе какого-нибудь мелика или султана... из тех, что помельче, разумеется, потому что к тем, кто покрупнее, протолкнуться сложнее...

— Может быть...

— Противно не будет?

— Будет, наверное... но у каждого свой жребий...

— Но кидаем мы его сами... кости-то в наших руках...

— А чашечка?

— Да, чашечка... хорошая, кстати, вещь, эта чашечка... а где мой бурдюк? Вот ты где... иди сюда... спаси, Аллах, и прости грехи мои многие... будешь?

— Нет, спасибо, воздержусь...

— Ну как знаешь... грехом больше, грехом меньше... мучений людских глоток вина не превысит...

— Страшные слова говоришь, ходжа... или все-таки Ходжа? Так это имя или обращение?

— Отстань, сказано, о пронизательнейший из наблюдательнейших... лучше на вот... хлебни... Ха, а говорил «воздержусь»... это же ширазское... настоящее ширазское вино...

— Терпкое...

— Да... говорят, мошенник Аветис подмешивает туда известь... да простит Аллах и его грехи, и наши грехи...

— Ты знаешь Аветиса?

— Винную лавку Аветиса знают все, кто хотя бы раз был в Ширазе...

— И за неимением денег расплачивался с ним шутками-прибаутками или колечком, подаренным гурией из гарема базарного надсмотрщика...

— Или получал палками по пяткам за неумеренное пьянство и нарушение ночного или дневного покоя жителей этого славного города... стихами, например... или свитками, смуту сеющими...

— Меня не били палками в Ширазе...

— А в Исфахане?

— Что в Исфахане?

— Били палками по пяткам?

— Нет...

— Ну, у тебя все впереди... целая вечность и весь Восток с Западом, а также Севером для всех твоих мелких нужд и надобностей... впрочем, как и у всех поэтов...

— Сколько в тебе иронии... кажется, я догадываюсь, кто ты...

— Путник на дороге бедствующих и странствующих, Насими... просто путник... на этом и остановимся... не надо имен, во избежание...

— Тут ведь никого нет...

— Степной ветер поднимает наши слова вверх и передает птицам... а они могут напеть это шакалам, джасусам или стражникам... даже не знаю, кто страшнее...

¹⁰ Область Азербайджана, в XIV веке являвшаяся независимым ханством.

- Ты боишься стражников?
- Нет, я больше опасаясь шакалов...
- Ты был в Ор-Капу?
- Не поверишь, но я даже подвизался там в должности кадия. Недолго, правда, около двух месяцев, но меня потом искали и ловили по всему Кырыму... около года...
- И как же я сразу не догадался...
- Я постарел... и многое из того, что молва мне приписывает, — вымысел... или высказывания других весельчаков...
- Смеющихся во все горло, когда их бьют палками...
- Или облагают непосильными налогами... занудный ты человек, Имадеддин... и как только тебе такие стихи удаются...
- Все от занудства... стихи — его обратная сторона...
- Никогда бы не подумал... получается, что мое зубоскальство — это обратная сторона моей же печали?
- Получается... а еще у тебя белки глаз желтеют... ты бы пил поменьше...
- Тебя тоже глаза выдают... затравленные какие-то... из города в город... и из ночи в день... слушай, поэт, а тебе никогда не кажется, что большая часть рассказней о Тимуре — не более чем слухи?
- Не знаю... хотелось бы верить... но судьба Фазлуллаха — лучшее им подтверждение...
- Да, но его казнил сын Хромой... сам Хромой тут как бы и ни при чем...
- Разве кривые всходы вырастают на прямом дереве?
- Думаю, что хоть и всякая власть от Бога, но Он, отстраняясь, предоставляет шайтану возможность толковать Коран по своему злоехидному усмотрению...
- Смейся над рясой, смейся над чалмой, но не зубоскаль над Книгой... лучше поплачь над человеком...
- Я не зубоскалю, я просто думаю... а плакать... выплакал уже...
- Тогда чем сожалеть о выплаканном, придумал бы лучше, что нам сегодня поздравить, потому что сыр заканчивается, а день еще нет...
- Где течет вода, там всегда живут люди... где живут люди, там всегда бродят воры...
- Абсолютная истина... поднимайся, поэт, пошли воров с водою искать, а если повезет, может, и сами чего промыслим... только сперва костер затоптать надо, а то долго ли до беды... Упаси Аллах тварей Божиих от пожара степного, пощады не ведающего...
- И от ушей чутких с языками доносящими... Упаси...
- Осторожен ты, поэт... согнулся под тяжестью таланта... грудь полна, сам у всех на устах, душа об ребра птицей пойманной бьется, а покоя как не было, так и нет... ничего.. и тебя сломают...
- Не сломают, Ходжа... я не трубка камышовая...
- Ладно, пошли, поротый-недобитый...

3

...Всякая борьба против феодализма должна была тогда принимать религиозное облачение и направляться в первую очередь против официальной церкви.

Ф. Энгельс

В 1385 году Великий Хромой вторгается на территорию современного Азербайджана... Правитель Ширвана Ибрагим Дербенди, понимая, что с вышколенной и

закаленной в сражениях армией Тимура ему не справиться, решает отстоять хоть какую-то независимость... пусть номинальную, пусть эфемерную, на год, на три, выцарапать ногтями, вымолить на коленях, выцыганить дарами, выманить хитростью или цветастыми оборотами. Ему очень нужно время, самая малость, хотя бы десять лет... или лучше пятнадцать, потому что у Хромого и без того много врагов, его пытается свалить могучая коалиция, состоящая из мамлюков Египта, турков-османов, ханов Золотой Орды и самого повелителя правоверных, халифа Багдадского... Ибрагиму нужно время, ой как нужно. И тогда он сам, собственной персоной, в составе посольства, с богатыми дарами, приходит в ставку Тимура и дарит Хромому девять ларцов с жемчугом, девять карабахских скакунов, девять тюков с шемахинским шелком и... восемь рабов... На вопрос Тимура, почему все дары числом по девяти, а рабов всего восемь, Ибрагим, преклонив правое колено, смиренно отвечает: «Твой девятый раб — это я, повелитель». Тимур приказывает ему подняться и долго, долго всматривается в переносицу Дербенди, размышляя, верить или не верить. Он прекрасно осведомлен о восточном лукавстве и многое знает о людях — созданиях, которые способны лизать руку только потому, что в страхе перед сапогом, под копчик пинающим, но способны ее, сухожилиями хрустя, до кости прокусить... у Тимура свои замыслы, свои желания и соображения. Он с малолетства ненавидит кривые улочки восточных городов, где в любой момент может начаться бунт или эпидемия черной оспы и где один еретик, к стене прижавшись, может долго-долго отряду воинов сопротивляться: подходите, мол, по одному, потому что пь два ну никак не получится (особо не развернешься, какие там копья со щитами, взмахнешь раз саблей — а она, злодейка, так и норовит со стены ближайшей искру высечь). Один за другим под ударами Тимуровых войск падают древние города Средней Азии и Кавказа, а на их месте руками рабов-пленников строятся новые, с широкими улицами, высоченными минаретами, административными зданиями и странноприимными домами. Ему очень нужны рабочие руки, чтобы рыть каналы, возделывать землю, тесать камни и плавить медь, а потому пленных не убивают. Рассказни же о пирамидах из срубленных голов оставим на совести многочисленных академиков, что за сказки эти зарплату получают. Бил, давил, резал, утешал, было дело, казнил нещадно и сопротивляющихся не жалел ни разу, но рукам рабочим счет особый вел, и от жадности же великой, строго-настрою своим воинам наказывал: «Пленного корми тем же, что сам ешь, приду — проверю, или пошлю — проверят, и да упаси тебя Аллах волю мою нарушить». Предметом особой заботы Тимура становится город Самарканд, город древний, город славный, повидавший и Искандера Двурогого¹¹, и воинов халифа, и железных солдат Чингисхана. Тимур утверждает величие Бога Единого, Бога Славного своей кривой саблей и мастерком каменщика. Пусть все вокруг служит вящей славе Божьей и свидетельством могущества смиренного раба Его, амир-Тимура. Старая, полуразрушенная монголами часть города, что расположена на холме Афросиаб, снова оживает и начинает застраиваться. Главным храмом города становится мечеть «Биби-ханым», построенная всего за пять лет руками ремесленников, свезенных в Самарканд со всех концов Востока, а ее купол, облицованный бирюзовым кирпичом, до сих пор называют «Повторением неба»... и никаких кривых улочек. С этого момента кривыми в империи Тимура будут только сабли, верные, острые, изнутри заточенные и пощады не знающие... Шесть главных проспектов сойдутся в центре Самарканда, на площади Регистан, и прямо в ее центре жена Тимура построит торговый центр Чор-Суу. Его мысли и желания обгоняли время, все, чего он хотел, так это разру-

¹¹ Александр Македонский.

шить старые города, вместилища беззакония, проказы и оспы, и дать людям новые, светлые, чтобы не было давящих потолков и сжирающих свет сводов, а одно только синее небо на много дней конного хода вперед, синее небо, мечта кочевника, да степь вокруг, где края не видно, а дойти до горизонта и коснуться его рукой — первейшее дело... А еще говорят, что очень давно, задолго до Искандера, когда Самарканд был только заложен, с Зерафшанских гор спустился леопард. Пятнистый, усатый, любопытнорожий, с ушами округлыми и усами длиннющими. Обнюхал камни, посидел рядышком со строителями, облизнулся хитро, покивал одобрительно и обратно в горы прыснул... так, во всяком случае, уверяет Абу-Саид-Абдуль-Рахман-ибн-Мухаммед-Идрис, человек в истории искушенный и авторитетный, такой врать ни за что не станет...

Самарканд застраивался руками строителей, вывезенных со всего тогдашнего Востока. Насильственное переселение не могло не вылиться в недовольство и сопротивление, в особенности если отлавливают и переселяют не крестьян и дехкан сиволапых, кроме мотыги ничего не ведающих, а людей деятельных да с воображением — ремесленников рукастых, гончаров и каменотесов головастых, кузнецов суровых, сапожников, что на язык невоздержанны, портных, что усидчивы, да кожеймяк, что молчаливы. За такими завсегда глаз да глаз нужен, потому как если руки у них делом не заняты, сразу в головы мысли разные, сталкиваясь, лезть начинают и всегда почему-то против властей земных. Чуть налогами поприжмешь — скалятся гнилозубо, тут уж сами додумывайте, что случится, если их плетью зб море погнать попытаешься. Вот и вылилось недовольство в целое движение, на философии да религии густо замешанное, хотя за всей философией, как, впрочем, всегда и везде, стояли обыкновенные экономические соображения плюс нежелание покидать землю предков. Борьба бедных против богатых, голодных против сытых и слабых против сильных... Взрывоопасный социально-философский коктейль, куда для пряного вкуса была добавлена щепотка радикального шиизма, по мнению некоторых исследователей, уходил корнями в еврейскую «каббалу» — тайное мистическое учение, где каждая буква алфавита имела цифровое значение. Хуруфиты же искали в причудливой арабской вязи черты человеческого лица, а тот, кто ищет, найдет обязательно, пусть даже для этого потребуются определенное время... Сильная это штука, воображение... Что захочешь — то и увидишь, чего желаешь — то и подсказано будет, куда уши востришь — то и услышишь обязательно... в особенности, если поэт, безусловно, если бежал, и, разумеется, если влюблен. Это, мол, ротик, а это уже носик, ну, и для ушек тоже что-нибудь дорисуем, или мы не каллиграфы? Хуруфиты называют Азербайджан «Сарзамин-э-рестахиз», «Место Пробуждения». Тут-то он, хуруфизм, и развернулся, во всем своем великолепии, в полной своей мистике, когда одному слову два на десять значений придается да расшифровывается, где каждая буква от семи до двенадцати смыслов имеет и, со словами разными сочетаясь, противоположные вещи означать может. А началось все с двадцати двух букв еврейского алфавита, где двадцать две основные буквы, три праматери, семь двойных и двенадцать простых. Три праматери: Мем молчащая, Шин свистящая, Алеф — воздух, дух, склоняющийся между ними. И взял Господь наш двадцать две основные буквы; впечатал, вырубил, сочетал их, взвесил и заменил, где счел нужным. И сформировал Он все созданное им, и все, что по милости Его ими сформировано будет. Основные же литеры установил колесом, как стену с воротами многими, колесо повторяется спереди и сзади. Знак разумеющему: нет в добре более высокого, чем наслаждение, нет во зле более низкого, чем проказа. И сформировал Он действительность и все сущее, кроме Себя Самого, из Пустоты, и то, чего не было, — создал. И вырубил Он великие столбы из воздуха, уловить невозможно их. И тому знак: Алеф — со всеми и все — с Алеф

наблюдает и замещает, и делает каждого сформированного и каждого произнесенного в имя одно. И знак тому — многие вещи в теле одном, где Алеф есть первая из букв, что дал Он сынам Адама...

Оплотом хуруфитов становится крепость Алынджа в Нахичевани, крепость высокогорная, а потому — орешек из нелегких, два раза войска Тимура вынуждены были, осаду сняв, подалее отойти: не поддавалась Алынджа. Два раза волны осадные от стен ее прочь откатывались, но сила всякую солому ломит, и в 1401 году Алынджа все-таки пала. В захваченной крепости были уничтожены практически все книги хуруфитов, кроме «Васиат-наме» — того Насими успел унести оттуда с собой.. в памяти. Главный же идеолог хуруфизма, Фазлуллах Наими, был казнен чуть раньше, в 1394 году. После неудачной попытки склонить сына Тимура, Миран-шаха, к своему учению, он будет разорван конями. Миран-шаха не зря в народе прозвали «Маран-шах», Шах-Змея. Мелочный и мстительный сын Великого Завоевателя, он с самого детства до скрежета зубовного завидовал своему брату, любимому сыну Тимура, Джахангиру. Был патологически, беспричинно жесток, и что-то заставляет меня думать, что теорию Ломброзо Миран-шах подтверждал полностью и недвусмысленно. Портретов, правда, не сохранилось, ни одного, к сожалению, чтобы версию мою подтвердить. Но про зверства с жестокостями я вам не наврал, ведь это Восток, ведь тут кругом Азия, и победитель получает все, от жен побежденного на ложе до детей его в услужение в лучшем случае, потому что истребить предпочтительней... и не обижается никто, понимает потому что: сегодня мне подфартило, а завтра, глядишь, тебе повезет... потому-то, завоевав чего, всякий здесь зверствует усердно, чтобы мстителей на развод не осталось. Вот так и жил Восток... странное место, страшное место, заворачивающее, манящее, отталкивающее, целая часть Света, а может быть, вовсе и не часть его, а целый мир, что пахнет розами и разит нечистотами...

...И шли дервиши оборванные, нечесанные, в лохмотья одетые, по всему Востоку бродили, на одном месте днями вращались-дергались, бороденки жидкие к небу задирали, ногами босыми землю топтали, руки к небу синему вздирали и на разные голоса от Герата до самого Магриба, переливисто, надрывно так, стихи Насими в ритме шесть восьмых выкрикивали. И если бы только дервиши шляющиеся... От Дербента до Басры, от вод Инда до волн Босфора, на базарах, в чайханах, в домах питейных, в кибитках крытых и прямо под небом открытым, распевал люд разношерстный стихи поэта в колпаке, что когда-то белым был, в такт словам пальцами прищелкивая, а которые побогаче, те, конечно, барабанщиков нанимали... и все на один лад, и все на ритм шесть восьмых, слова любовные, слова горячительные, по всей земле Божьей любовь земную и небесную утверждая, ритмом восточным, манящим, пальцами щелкающим, да ногами перебирающим. И дышали они животом, а не грудью, и «Йагу-Йа-Хагг» повторяли ритмично; а «Йагу-Йа-Хагг» есть одно из имен Божиих, а именно Истина, Справедливость...

4

У тебя есть все,
 Чтоб об этом
 Забыть.
 Есть все,
 Чтоб об этом забыть...
SunSay. У тебя есть все, чтоб об этом забыть

— Тоска и произвол не только славянскими бывают. И если ваша с тюркской схлестнется, то еще неизвестно, кто кого, заголосив-затосковав, перепоеет-перевоеет.

- Так... а интересная у вас страна...
- На свою посмотри...
- Нагляделся уже... та же комсомолия у власти...
- На всех этажах и антресолях... Вороватая такая, вечно красноречиво-непереходящая... лапки липкие, глазки быстрые...
- Заплывшие, хитрозауженные...
- На одном заводе клепали, видимо...
- Точно. В одном цеху, по единым чертежам, под одним ОТК.
- А пить почему перестал?
- Ну... Захотел и перестал. Так получилось..
- И не тянет?
- Нет, почему же, тянет иногда. Но чаще все-таки не тянет.
- Закодировался, что ли?
- Нет, просто Богу пообещал...
- С какой такой радости-то?
- Было дело. Какая разница, по большому счету...
- А ты вообще замечал, что Он тебя любит?
- Знаешь, если честно, то замечал.. даже если не любит, то относится как-то по-особенному. Сам посуди, не сжевали, не убили, не искалечили... хотя стараний в свое время было приложено достаточно. Более чем, по-моему.
- Любит, получается.
- Вот и мне так кажется... даже если все остальные, ну, многие, во всяком случае, считают полным засранцем...
- Я это слышал где-то. Или читал.
- Что именно?
- Ну, выражение это: «Бог тебя любит, даже если все вокруг считают засранцем».
- Значок такой был.

...Познакомились мы с ней случайно, в магазине, киношное такое знакомство получилось: у нее сетка с мандаринами разорвалась, я и помог мячики зимние, солнышки раскатившиеся с полу подобрать... и никаких задних мыслей... просто, оказалось, что она живет неподалеку, и все получилось как-то... само собой, что ли... она слегка удивила меня в первый же вечер, сказав, что бесплодна и беременность ей не светит... материнство тем более... такие вот ужимки современности, сравнительно молодая, но уже с тоненьким таким шрамом вдоль живота, чуть ли не от солнечного сплетения до самого лобка... я в детали не вдавался, неловко было как-то, да и неинтересно по большому счету, что мне до дня вчерашнего, что нам до дня завтрашнего, который мы не стремились разделить ни разу... правда, иногда мне казалось, что я тут совсем как бы и ни при чем, а все происходит само по себе, я же просто наблюдаю за всем со стороны, сторонний такой, посторонний, мужичок для здоровья, иллюзия избавления от одиночества, а потому, наверное, и сожалений особых не было, когда в один прекрасный день она решила больше не возвращаться... и снова я оставляю без ответа ее телефонный звонок... ну тебя, девочка, с твоими тонкими кокаиновыми ноздрями... лань трепещущая.. слишком ты какая-то проблемная, что ли, а нервы у меня уже совершенно не те, чтобы все твои закидоны терпеть, прости, устал я, очень устал...

Цивилизация, дорогой товарищ, вообще представляет собой довольно сложный и длительный процесс утончения обычной дубинки до размеров скипетра. Все эти Винзоры, Гогенштауфены, Брауншвейги и прочая-прочая-прочая, спервонача-

лу были (не говоря уже о Пехлеви и Бернадотах) простыми разбойниками, в лесах и полях весьма авторитетными, и все послабее да попроще, что окрест жили, сильно их за таланты разные уважали. Издалека завидев, подальше схорониться норовили, на всякий случай, во избежание процесса отчуждения приглянувшейся собственности.

Для кочевых племен государственных границ не существовало чуть ли не до тридцатых годов двадцатого века, то тут они, то там. Сегодня в Сирию отошли, со стадами и семьями, а завтра по Ирану кочуют. Везде они себя вольготно чувствовали, по краям всадники с копьями, а посередине — кибитки с женами, старухами да детьми малыми. Так и ходили по всему Востоку, сами себе хозяева. А как война — так тоже особо голов не ломали: кто больше заплатит — за того и ввяжутся. Отступающих опять же побить-пограбить первые мастера, а как опасность — рассыпаются вольной конницей, заверещат гортанно, не догнать, не окружить. Своим законом жили, своим укладом, шапку на бок в случае чего заломят, свистом зальются — и нет у них царя, нет границ, нет повелителя, один хан или шейх, восход за плечами да Господь Всевышний наверху, где синь лоб заламывает, кружит мьромком, а закрутив, на части рвет-разрывает. Великим позором считалось гостя обидеть или страннику в чем нужном отказать, потому и обновлялась кровь постоянно. Покрутится тип приبلудный, пооботрется, да и прилепится к деве из племени кочевого... и куда ты теперь от жениной родни денешься, раз уж детишки пошли? Вот то-то же... Ходжа и Насими шли, не прятались, не сгибаясь... степь здесь, и пока войско того или иного государя шагом мерным по ней не пропылит, нет здесь ни царей, ни шахов, ни мытарей, ни лиц прид-(т)-ворно-духовных, а один только Господь... на много дней пути... потому и опасаться особо некого. Шагай себе, с головой поднятой, а волки появятся — огонь разведешь, посохом отобьешься, если будет на то воля Божья... Шли не крадучись, за холмиками не прячась, но закон степной все-таки нарушили. Ходжа и Насими, две стороны монетки одной, халата одного изнанка и сторона лицевая, подошли к кочевью и барашка унесли... с голодухи, ясное дело... а зачем чего поменьше не сперли? Ну, так не было там чего поменьше... ни кур, ни кроликов... а деревья плодоносящие в степи не растут, потому и яблочка не сорвать, чтобы насытиться... грех без спросу чужое брать, кто спорит-то? Но осуждать их не станем. У Ходжи с Имадеддином — одна степь впереди да зинданы¹² сырые с решетками, толщиной в ишачиный хвост в прошлом... У Ходжи вообще принципов особых не было, а если и были — то самую малость, чтобы ноги с голодухи не протянуть... Насими, правда, побрыкался слегка, мол, просвещенному человеку не к лицу чужих баранов таскать, но Насреддин ткнул его разок под ребра, чтоб в чувство привести, чтоб не шумел да барашков не беспокоил. Рrrrrраз — и цапнул агнца волоком, взвалил на плечи и, Насими впереди себя пинками да шипением подгоняя, за холмом скрылся, подальше от становища, чтоб никто не спросил, что это вы тут делаете, бродяги бездельные, и где барашка сплутовали... А как отошли, Ходжа повернул барашка в сторону Мекки, произнес «Бисмиллях» и заколол по обычаю, после чего к Насими обратился, понимаешь, мол, дорогой, я унес, я дотащил, я же и заколол, а вот свежевать вкусного тебе придется, раз уж к мясу приобщиться хочешь. Чтобы все по-честному, по справедливости, и делами рук своих человеку питаться положено. Покряхтел Насими, как человек просвещенный, поворчал, попенял немного, глаза к небу воздев, но деваться некуда, если живот подвело, потому как на голодное брюхо никакой Платон на ухо не ложится. Освежевал, тревуху удалил, разрезал на части, все как полагается, все по обычаю, по-

¹² Тюрьма, подземелье.

тому как просвещение просвещением, а жрать все здоровы, что просвещенные, что не очень грамотные. Но не успели они огня развести, чтобы несправедно добытое поджарить, как подхватили их под руки, навернули халаты на головы да повели в шатер главного в кочевье, хозяина племени да и всех баранов окрест вообще... пояс сорвали, руки за спиной ими же и связали, на всякий случай, чтобы не рыпались перед главным или по дороге... пояс, он, знаете ли, очень смирение внушает, особенно если узел водой подсоленной смочен да потом зубами затянут накрепко. Весьма смиряет, мысли о бунте и неподчинении прочь гонит и, как ничто иное, бездну уважения вызывает... Оглядел шейх бродяг связанных и подал знак воинам, мол, поставьте их на колени, оборванцев эдаких, да так поставьте, чтоб глазами не меня, а ковры разглядывали... ткнули обоих под сгиб коленный да на плечи сверху надавили, приказ шейха исполняя... а потом, за шкурки ухватив, носами к ковру придавили... испокон веков не за то гнут-загибают, что барашков воровал, а за то, что осторожности не проявив, вовремя удрать не получилось... терпи теперь, раз уж попался... в следующий раз умнее будешь... встал шейх над жуликами пыхтящими, да так встал, что носки сапог с головами склоненными почти впритык были... и двинул речь краткую, мол, казнить вас не стану, не тот проступок, чтобы голову от туловища отделять... но слово мое помяните... «Тебя, — обратился он к Насими, — обдерут так же, как ты того барашка, а ты, — наклонившись к Ходже, — « всю свою жизнь посмешищем будешь, как я чуть не стал для завистников и племен соседних, — приподнял обоих за волосы, поглядел в глаза с сожалением, будто всю правду из них испил, все прошлое в них увидал, да в будущее заглянул, а после обратился к воинам своим: — Всыпьте им с десятков плетей каждому, потом накормите досыта, дайте запас еды и воды дня на три, и гоните взашей из стана. Да не скажет никто, что род мой и племя с путниками вопреки закону степному обошлись...» Жаловаться нечего, ведь если и выдрали, то ведь накормили потом (хотя Ходжа и намекал громогласно, что плети на сытый желудок легче переносятся, накормили бы, мол, для начала, а?). Накормили... да мало того, что накормили, так еще и с собой дали... не без пинков, правда, не без зуботычин, но хурджины¹³ получились вполне по совести... боков округлостями на ощупь приятны, узорами разноцветными так глаза и радуют, а края узелками завязаны... на десятки лет, если не на века деланы, а расцветка еще владельца переживет... ну, почесались, закинули хурджины на плечи, и пошли себе далее потихоньку, куда глаза глядят... сплевывали, правда, сквозь зубы, матерились вполголоса, не без этого... ну, кому ж после плетей приятно бывает... а глаза все больше на ковыль глядели, потому что когда идти совершенно некуда, надо просто закрыть глаза, ноги тогда сами куда-нибудь обязательно да выведут... из всех степных правил это есть правило наипервейшее... поглядел на шарик ковыля, глаза прикрыл, потом к ветру, зажмурившись, принялся, и с какой стороны Ее запахом потянет — туда и направляйся...

Насими очень нужно было попасть в Диярбекир...

Двигаясь на запад, армия Тимура вытеснила из Средней Азии кочевые племена Гара и Ак-Кююнлу. Без особой крови, разве что пара-тройка стычек на этапе вытеснения (или отступления кочевого), не оказавших на историю региона сколь-либо особого влияния... Вытеснила на свою же голову, как выяснилось впоследствии, потому как немного позже, в апреле 1408 года, битва при Сердруде положила конец владычеству Тимуридов в Азербайджане. Голову Миран-шаха поднесли Кара-Юсуфу, и ему, наверное, подумалось.. да мало ли что может подуматься победителю...

¹³ Сумка.

хотя думалось, ему, наверное, всякое... может, государство от Средиземноморья или даже от самого Египта до берегов Каспия, а может, просто хмыкнул человек удовлетворенно, на голову врага поверженного поглядывая... у трупа врага всегда приятный запах, на какой бы стадии разложения он ни находился... а кровь противника всегда очень приятна на вкус. Солоноватая, но почему-то со сладким таким запахом, что ноздри наизнанку выворачивает... а вот тошноты почему-то не вызывает...

— Насквозь тебя вижу, будто стеклянный ты, а потому все мысли твои мне заранее ведомы. Глаз твой прозрачен, Насими, а мысли туманны... одно хорошо — хоть слог и не всегда ясен, слова у тебя на все времена жгуче-понятны...

— Ты кто?

— Это не важно. Важно сейчас только то, что я тебе сказать должен. В сторону Коньи не ходи, а южнее нее подавно не суйся... пропадешь. Ты в любом случае сгинешь, просто если пойдешь в сторону Коньи, а оттуда южнее свернешь — это случится раньше.

— Откуда ты это знаешь?

— Это тоже не важно, важно только, чтобы ты выслушал меня до конца... Дойдя до Коньи, примешь участие в состязании ашиков. И, может быть, одержишь победу. А победив, южнее свернешь, с наградой полученной. Тут-то тебя судьба и настигнет... день не скажу, но случится это в Халебе, через пару часов после полудня... не знаю, на какой площади, знал, но позабыл... И тебе не суждено умереть легко, Насими, смерть твоя будет долгой и мучительной, кожа лоскутами слезет, печень брюшину продавит, волос вовнутрь вроснет, а средоточие дыхания ребра выломает... не суждено тебе легко умереть, Насими... после смерти же ты, голосами распеваться, и до скончания времен на устах человеческих останутся... свиткам же со стихами твоими не раз и не два суждено сожженными быть, разорванными да растоптанными... многих участь твоя за слова или восклицания, что с твоими схожи, постигнет, многие еще полягут, кто на плаху, кто от болезни сердечной, а все за то, что стихи твои повторять будут, перепевать, подражать, вытанцовывать да переиначивать... по следам твоим, все по следам твоим...

— Скажи мне, кто ты... я должен знать...

— Ты ничего и никому не должен, Насими, забудь... перешли все долги твои ковылю катящемуся, солнцу заходящему, да луне ущербной... а я... я странник во времени и по земле Божьей и с самого Дня сотворения до Дня взвешивания¹⁴ по земле бродить обречен... помощи от меня пусть никто не ждет, вреда, впрочем, тоже... я прячусь в ветках чинары, когда ее обдувает ветер, я плачу в стволе кедра, когда его на корабли легкие рубят, я сгораю в сухой траве, когда ее в степной костер подкладывают... а больше ничего не спрашивай, все равно не отвечу, всего остального тебе знать незачем...

Рывком Насими поднялся, сел возле сумок с провизией, помотал головой, сна остатки с себя стряхивая, огляделся вокруг — никого... даже ветер дуть перестал... сон ли, явь ли, не думал даже, губ не закусывал, лба не морщил... повел зябко плечами, поглядел на Ходжу храпящего, рукой по лицу провел, в себя приходя, какой уж тут сон, раз некий неизвестный со словами ужасными лезет-беспокоит... Ходжу, конечно, растолкать пришлось, от страха великого и недоумения:

— Ходжа... Ходжа... просыпайся.

— А? А?? Чего ты? А?

¹⁴ Судный день.

- Ничего... ты никого не видел?
- Кого я во сне видеть мог? Покоя от вас, от поэтов, не дождешься... на намаз пора, да?
- Нет, не на намаз... Я говорю, никого вокруг не видел?
- Да спал я, спал, откуда...
- А во сне?
- Совсем ты, Насими, спятил... я и снов-то почти не вижу, разве что после встряски какой... Да чего ты трясешься? Лихорадка, что ли... глаза выпученные... испарина на лбу... что с тобой?
- Сон видел...
- Какой сон? Да не трясись ты так...
- Не могу... о смерти сон... О моей смерти...
- Блажь все это, не бери в голову.
- Не взял бы, Аллахом клянусь, не взял бы, если сон тот о тебе видел бы...
- Так, Насими, давай я тебе виски песочком чистым потру, потом вина глотнешь, укутаешься, полежишь возле костра, пропотеешь, а к утру, как в себя придешь, сходим мы к лекарю одному, к табибу...¹⁵ пару молитв сотворит, настойками напоит, дымом окурит, все страхи прогонит и сны очистит, или к женщине-ведунье, она все не хуже сделает... ты только это... зубами не скрипи... ты... куда набок завалился... О-о-ой... что ж ты делаешь-то...

Ходжа около получаса хлопотал над безжизненным телом Насими: подбородок ему тер, по щекам полотенцем влажным хлестал, губы вином промокал да, зубы разжимая, языку в глотку провалиться не давал... а как привел в чувство, сел рядышком да, дух переведя, выговаривать начал: и что покоя, мол, от него нету, и что выдумывает всякое, а потом ни сам не спит, ни другим не дает, в обморок падает, в себя не приходит, дергается непристойно, декламирует, и откуда он такой на его, Насреддинову, голову взялся, не иначе как в наказание за грехи тяжкие... но это, инш Аллах, ничего, он, Ходжа, человек терпеливый, вот сводит Насими к человеку, в болезнях сведущему, он в деревне неподалеку живет, дня два ходу, а потом пешком в Мекку пойдет, грехи замаливать, чтоб ему, Ходже, Аллах Всемилостивый больше таких испытаний ни в этой жизни, ни в следующей не посылал... Монолога его Насими не прерывал, сидел тихо, даже отрешенно как-то, только перед собой глядел глазами остекленевшими... но когда Ходжа, заговорившись, ругнул его трехэтажно, вскочил пружинисто да как вдарит его, сидящего, ногой в правое плечо. Больно попал, есть там место, где мышцы соединяются, не приведи Господь как потом ноет. Ходжа был не раз бит публикой базарной в заведениях питейных, а потому и сдачи давать умел, и побои терпеливо сносил, вроде как ослик его, что не раз до нас был в книжках воспет да в анекдотах описан. Упал Ходжа навзничь, перекувыркнулся через другое плечо, на ноги встал и зарядил левой поэту под глаз, чтоб не пинался, когда ему душу изливают да на судьбу жалуются. Ну ругнул и ругнул, нервы не выдержали, который день в пути все-таки... Вцепились они в бороды друг другу, повалились в пыль, пыхтят, катаются, бока об землю суровую обдирают, бранятся хрипло, то один сверху, то другой, а который сверху окажется, тот того, что снизу остался, кулаками и охаживает: в челюсть ему, внизу пыхтящему, в ухо, в глаз да, за волосы на висках ухватив, макушкой об камень, врага-супротивника... Люди восточные обычно перед дракой шумливы бывают, а эти — без угроз, без ругани и прочего вокруг кружения сразу к делу приступили да опытно машутся, ты погляди, читатель дорогой, какие профессионалы у меня герои, ну ничего, ско-

¹⁵ Врач.

ро им надоеет, и они отдохнуть присядут... или прилягут, а потом помирятся, ведь в степи по-другому нельзя... тут можно поссориться, разругаться, даже в кровь подражаться и ребра друг другу с воплями ломать, только после драки зла на товарища держать не моги, потому что в дороге всякое случиться может... не закончилась еще дорога-то, и тут уж лучше вместе держаться... Что я тебе говорил, читатель? Помахались минут десять и прилегли рядышком запыхавшиеся... пот утирают, кровь сплевывают, носами шмыгают, глаза, правда, злые пока, да слова нехорошие с языка срываются, но и это пройдет, как отдышатся... Бывает, брат, это все нервы, дорогой... а ведь в самом деле, что-то с тобой не так, Насими, совсем не так... жил бы ты в двадцатые ходил бы себе по Мугани, скалился б зубасто, в руке камча, плеточка то есть, нос в кокаине, сам от спирта и солнца чернее камня речного на изломе, глаза бешеные, и наганом людей в светлое будущее загонял бы... или, наоборот, загоняющих, в горах спрятавшись, отстреливал бы... не сиделось бы тебе спокойно за столиком, не пахалось бы в колхозе, не кашлялось, я ж тебя насквозь вижу, даром, что тихонький сейчас, скромный, молчаливый, как мышка полевая, что каждого шороха боится... тебе, Насими, только шанс да волю дай, если своей кровушкой землю не напитаешь, так других на то обязательно сподвигнешь, а то и по самые плечи в нее, в землю, то есть, вгонишь... Мушфиг мне уже снился, Есенина я видел, теперь за тобой очередь, дорогой.. ты приходи, если не вмоготу станет, заходи, когда припрет, пообщаемся... может, дьявол твой образ примет, а может, Бог смилостивится и тебя, настоящего, пошлет, чтобы все без обмана и морока было...

Женщин, которых я любил, я называл по-своему... у каждой было свое имя, свой эпитет, и я ни разу не повторялся.. для всех прочих был стандартный набор кисок, заек, ласок и маленьких... потому что все равно в начале было слово, что бы там ни говорили материалисты, и насими, есенины, мушфиги и вийоны лучшее тому подтверждение... Кстати, позапрошлым летом про меня ходили упорные слухи, что я то ли заболел туберкулезом, то ли умираю от рака, хотя я всего-навсего похудел, постригся наголо и не брился несколько недель, сваливая все на проклятую жару проклятого города, способного высосать костный мозг через ноздри, опустевшие глазницы и отверстия в ушных раковинах... просто я умер, умер в один из тех самых дней, один летний, другой зимний, один раз на жаре, другой раз на холоде, два раза за один год, в декабре и в июне... по-моему, это слишком, целых два раза в течение года... хорошо.. я немного умер, слегка, не совсем и, наверное, не навсегда, в мире, сошедшем с ума, среди женщин, которые не любят детей и просто не хотят их больше иметь, в мире котов, не едящих колбасы, в мире, где на месте памятника герою моей повести строят автостоянку... или это со мной что-то не так... я ем колбасу, от которой воротят нос коты, пишу о героях, на месте памятников которым полагается быть автостоянке (слава богу, мимо пронесло), и вечно испытываю потребность иметь детей от женщин, которые не испытывают в этом такой же потребности... а вообще, не в пример многим, воскреснуть способен, вот отряхнусь, отлежусь немного и пойду себе далее...

5

Тем временем по всему Востоку дешевела кровь, по всей золотопыльной Азии дорожало оружие, и лязгали зубы, катились головы, и выкатывались глаза, радовалась незамужняя, и ликовала бесплодная, топот коней перебивал бой свадебных барабанов, потому что мало кто цеплялся за жизнь так же яростно, как изнеженные жители белостенных городов, и мало кто умирал с такой же легкостью, как загоре-

лые дочерна крестьяне или обитатели пустынь... в который раз лопалась и рвалась в куски человеческая кожа, в который раз сотрясалась земля великим сотрясением, в который раз менялся мир, в который раз рушился старый уклад, и уже в который раз новое с сокрушительной силой стучалось в каждую дверь... Но не каждая дверь и не всякий живущий за нею был в состоянии этот стук вынести, кого и вперед ногами выносить приходилось, потому что так было, так есть и так быть, наверное, никогда не перестанет, ведь новый мир, всегда и во все времена в крови и муках рождаясь, далеко не всегда, а если по совести, то почти никогда лучше и уютней прежнего не становится... и взвоят трубы, взмахнут рукава, лязгнут сабли, кто-то, лежа навзничь в сухой пыли, закричит зайцем от ужаса, кто-то кровь, с потом смешанную, со лба утереть времени и желания не имея, так и будет рубиться, а кровь и пот тем временем, сами высохнут, оставив на лице землистую корку... Кого-то потащат на аркане, кого-то проткнут копьем, и он, пригвожденный к земле, станет подтягиваться на руках по нему вверх, пытаюсь дотянуться до горла проткнувшего и хотя бы один раз перед смертью вцепиться ему в кадык... И всегда, во все времена война имела свой запах, в котором нет ничего особенного, но который тем не менее не спутать ни с чем. Это даже не запах, это — вонь. Абсолютно отдельная от запаха бездымного пороха, горячего металла и выхлопа бронетехники... Тяжелая вонь человеческой мочи, что низко стелется, быстро распространяется и имеет отвратительное свойство пропитывать окружающий тебя воздух, туман и даже солнечный свет.. а еще война пахнет землей... вот упадешь, вожмешься в нее и шепчешь горячно: я есть ты, и ты есть мы, из тебя вышел, в тебя и войду, хочу, хочу, хочу тебя, как же я хочу с тобой слиться... поди тут, пойми-разбери, что и с чем больше общего имеет, то ли война с женщиной, то ли женщина с землей... Азия ты моя, Азия, живым не давайся и в живых не оставляй, вырастут — отомстят, сдашься — умучают... Так было, так есть, так будет...

Господской пищей редко тешил плоть,
Ни разу не был кумом королю,
Ему случалось и ножом колоть,
И голову засовывать в петлю.

Б. Брехт. Баллада о Франсуа Вийоне

— Вот до города дойдем — обязательно найду к оружейнику... За новым кинжалом...

— Зачем он тебе?

— На всякий случай.. старый почти негодный... наверное... рукоятка расшаталась, да и заточить не мешало бы... тебе тоже обзавестись советую, дорога все-таки... в пути всякое случиться может. Подберем что-нибудь в Диярбекире. Или в Конье... смотря куда направимся... В Диярбекире фруктов сушеных — пропасть, от них сердцу человеческому большая польза бывает, и для всякой жилы благо, в Конье — вода особенная и воздух благостный.

— Меня кинжалы сейчас больше интересуют, вдруг попадемся кому?

— Тихо себя вести будем, не высовываться.. а как кинжал от всякого сыска прятать — я тебя быстро научу... воины шейха куда как усердными были, а не нашли...

— Они просто ленивы, как всякие кочевники, что на одном месте больше четырех лун засиделись. им ведь только в конном налете равных нет, а как на землю сядут да торговать начнут — все, потом их, растолстевших, пинками в седло не загонишь, приходи, кто прыткий, владей, как захочется...

— Кинжал можно спрятать не только в складках одежды, но и внутри другой вещи. Например, в посохе, в простом деревянном посохе... или если кромку брасле-

та заточить, он тоже при случае оружием послужить может... аркан враз перерезает, или горло... нужная вещь, всегда пригодиться может... связали тебя, к примеру, а ты выждал немного, развернул кисти в направлении хода дневного светила — и снова свободен... да поможет Аллах убегающему, чтобы ноги побыстрее, а погоня помедленнее.. уж больно время нынче плохое, кровь дешева, оружие дорого, дороги опасны, а женщины не ласковы, без динара и не суйся...

— Ну, денег, положим, хватит.. не армию ж собираем... давай все-таки в Конью...

— А что там? И чем Конья лучше, скажем, Диярбекира или, там, Эрзурума?

— Во-первых, туда все поэты сходятся, во-вторых, там похоронен сам Платон и жил Джелаледдин Руми, а в-третьих, дорога к Конье лежит через Диярбекир.

— Идем туда, где сушеные фрукты?

— Они самые...

...Снова ночь, снова время остановиться, разжечь костер, посидеть возле него самую малость, над днем минувшим подумать, а подумав — спать не мешкая, подниматься придется засветло, с первой ниткой рассвета на горизонте, но сидит Насими возле костра, шуруется, все заснули давно, а ему неймется — думается, пишется. Не трогайте его за плечо, давайте издали посмотрим... сидит поэт, вплетает в мысли и ощущения жемчужную нить слова, кривится, стирает, хмурится, губы кусает, недовольный написанным, калам грызет, пишет и опять замазывает... а рыжий месяц ему тем временем подмигивает, ехидно так, но по-приятельски; то глазом в небе, то яблочком в луже.. смотря, конечно, куда Насими взгляд направит... в отчаянии Насими готов разорвать написанное, но вдруг, по соизволению Божию, сильный ангел проведет крылом над самой его головой, и продолжает Насими, пишет без помарок, с ошибками, времени у него нет на исправления, он уже и думать забыл о том, что минуту назад все разорвать хотел, пишется ему, и пишет он так, что ничто его в эту минуту остановить не в силах, и так, пока волосы, взмахом крыла ангельского взъерошенные, шевелиться не перестанут... а как перестанут, откинется, полюбуется, и первое, чего захочется — в бумагу впечатанное вслух прочесть... а после заката стихи всегда звучат несколько иначе, нежели днем или на рассвете... Что же с тобой станется, Насими, если вдруг сердце успокоится? Да просто, Насими, быть перестанешь... потому не успокаивайся ни в коем случае... дальше дерись, шуми, обижайся, пей, волочись при случае за девочками, капризничай, не помни, где уснул, и не понимай, где проснулся, может, Бог вашу братию по-другому судить станет... и будет хохотать ветер над головой твоей, и разрыдается дождь над твоей одеждой, будет хлеб — поделишься, будет хорошо — отдашь улыбку, а если под плохое настроение кто попадет — так пусть на себя и обижается, не суйся под горячую руку, если четверостишие не получается... поэты — они такие, за слово и сами удавятся, и кого другого с радостью придавят... с ними всегда ухо остро держать надо, и много воли не давать, отобьются от рук — ни в жизнь обратно не приберешь...

...Посох в пути — штука самонужнейшая, важнее него разве что обувь попроче-нее... сами посудите: при усталости на него опереться можно, возле костра сидя, угли перемешать, а случись в дороге какая неприятность с мордобоями и ограблениями — так без него совсем никуда, в особенности если их больше, а бежать тебе или гордость не позволяет, или возможности нету... ты в дороге опора, ты в пути оружие, а если у тебя внутри кинжал запрятан — цены тебе нет и не было... сам Ходжа Насреддин так считает, а он дурного не посоветует, не одну и не две дороги исходил, весь Восток без малого... да и обещания он привык сдерживать, вот и

привел Насими к сведущей женщине, что травами и камнями лечила, а по слухам, и колдовством не брезговала.. но за это плата другая и на том, и на этом свете... Одному Богу известно, откуда Ходжа эту женщину знал, но в странствиях много всякого народа встречаешь, да и вести в пути как-то быстрее доходят. Власти колдунов особо не гоняли, старались смотреть сквозь пальцы, пока те в рамках держались, потому как ведовство что в европах, что в азиях в ту далекую пору рука об руку с медициной шагало. О ядах и искусстве отравления я уже и заикаться не смею, такой специалист всякой власти во все времена сгодится. Духовенство, правда, косилось и даже отплевывалось, но вот парадокс, самые именитые колдуны всегда выходили именно из ее среды... «гара», или «черного моллу», люди опасались — старались не задеть да не разозлить ненароком, догадываясь, что он знается с нечистой силой и может прочесть суру «Аль-Фатиха» задом наперед, за что будет наказан только в День взвешивания. Опасались всяко, что он может накликать беду, а то и отвести ее, хотя твердо веровали, что зло касается человека только с соизволения Всевышнего. Самыми же страшными и могущественными из «черных молл» были те, чей род восходил или роднился с родами «овсунлу» — людьми, которые каждый вечер на пороге дома оставляли плошку молока для окрестных змей, и змеи никогда не причиняли вреда никому из живущих в округе. Считалось, что молитва «овсунлу» Богу слышнее, а если кого из этого рода обидишь — то лучше бы тебе на этот свет и не родиться. Женщины «овсунлу» злопамятны — не связывайся, а мужчины коварны: не сумеешь сдружиться — отойди в сторонку, головы не снесешь... Род этот, в колдовстве и врачевании сведущ, всякую весну со змеями знается, на холмах травы собирает да подолгу возле колодца сидит.. Этим людям строго-настроено запрещено убивать или обижать змей. Мало того, при встрече со змеей они должны почтительно уступить ей дорогу и молчать до тех пор, пока она не скроется из виду, а вот с чего да с каких пор так заведено, почему и кем им так предписано — не знаю того, не ведаю.. Взгляд у них тяжелый, дыхание тихое, слух острый, а кости легкие... Зрение, правда, подкачало, они почти не видят в сумерках. Добру «овсунлу» особо не служат, но и ко злу стремления не выказывают, из них всегда отменные табибы, то есть лекари, получают.. Но если в молодости «овсунлу» оступился и тяжело согрешил, одна ему дорога остается — навсегда в «черное священство», в «ночные», или «черные», моллы, и такой «овсунлу» обязательно станет «гара моллой», а потом, за грехи свои да пакости тяжкие, в День суда понесет унизительное наказание.. «Гара молла» может позвать джинна, может прогнать его, в колдовстве и наведении порчи искушен, в делах же своих руководствуется не совестью или словом Божьим, но стяжательством и внутренней потребностью сеять зло, которая с каждым днем проявляет себя все ярче и ярче. Качества «овсунлу» передаются и женщинам, их, как водится, в священники не берут, зато во врачеватели зазывают. Вот к такой-то женщине и привел Ходжа Насими. Поздоровались, да в глубь дома зайти остереглись, невежливо потому что, пока не пригласили. Смуглая женщина средних лет, из тех, которым до старости еще далеко, но молодость уже миновала, поприветствовала их кивком головы, потом, после секундного раздумья, все-таки сказала «Алекум салам», после чего вернулась к тому, чем занималась и от чего ее отвлекли гости. Вернулась к столу с травами, и все. Мол, пришедшие сами знают, зачем пришли, вот и спросят, если такая уж надобность. Первым не выдержал Насими, не снес молчания, напрямую спросил, что делать умеете да за каким бесом-дьяволом меня товарищ дорожный сюда приволок... Женщина и бровью не повела — Насими аж засопел от обиды, но счел за благо не связываться с женщиной, да еще и сведущей в колдовском искусстве, как вдруг... оказалось, что женщина уже говорит скороговоркой, а они

оба слушают ее довольно давно. Время словно сжалось, и ее смуглое лицо проступало неясным пятном в клубах дымка, шедшего из курительницы:

— Что могу, спрашиваешь... Я многое могу. Могу приворот сделать, да такой, что вовек на него отворота не будет, могу отворот, он даже полегче приворота будет, могу порчу навести, удачу отвести, могу смерть призвать, но не сразу, не сразу, нет, быстрой смерти не призову, не за тем люди в этот мир идут, чтобы потом по-легкому уйти... грехи мои велики, всякий, волхованием да колдовством занимающийся, под гневом Бога ходит, грех это великий, а потому и плата за труд мой не маленькая, только за одно никогда не возьмусь — за зелье, чтобы зачавшая плод скинула, но вижу и знаю, что вы не за этим. Осмотритесь пока, я за это денег не беру и хлебом не взыщу. Но руками ничего не трогайте, а то беду накличете.

А посмотреть и потрогать вокруг было чего. Да чего только не было в той хижине. Пучки душистых и не очень трав лежали вперемешку с кучками кошачьих когтей, волчий жир в горшочке соседствовал со связанными в пучки маленькими кусочками высушенной плоти (это были языки ласточек), рядом лежала горстка орлиных клювов, клочки шерсти непонятного зверя, несколько тоненьких разноцветных веревочек, завязанных узлами. По-видимому, в ход шло решительно все, и совершенно ничего не пропадало даром.

— Знаю, зачем ты ко мне пришел, но все равно приворот предложу. А?

— Нет. Я уж как-нибудь сам при случае приворожить сумею.

— Сумеешь, знаю. Знаю даже то, что все у тебя не хуже, чем у меня, получится. Но на всякий случай запомни: зажимаешь между пальцами правой ноги высушенный ласточкин язык и легонько наступаешь на ногу понравившейся тебе девушке.

— Запомню на всякий случай, но надеюсь, что мне никогда не придется им воспользоваться.

— Ну, уж постарайся как-нибудь, а то какой же ты поэт, если собственным языком обойтись не в состоянии, — ввернул Ходжа.

— Язык Насими — это птичий язык,
И понять его в силах
Лишь царь Соломон.

(Подлинные стихи Насими. Согласно преданию, царь Соломон, он же пророк Сулейман, обладал даром понимать язык птиц и зверей.)

— Далеко мне до Соломона, да и вам, уважаемые, до него стараться до мозолей. Ты хочешь знать, что с тобой будет завтра?

— Для начала скажи мне, что со мной было вчера, а потом я подумаю, стоит ли спрашивать о часе грядущем. Или даже минуте.

— Грубоватый ты. Неутонченный совсем. А как же поэзия? Твои собраты по дворцам посиживают, в халатах расшитых оды пишут.

— Да, динарами позвякивают, на серебре едят. Но не дай Аллах шаху одой не угодят.

— Так то и тебе светит. Если звезды в ряд выстроятся, а нога из него выбьется.

— Из ряда?

— Да. Изрядно из ряда. Ты не светись, ступай тише, осторожнее, пиши чаще, пиши понятнее.

— А если не могу понятнее, не хочу тише и осторожнее не получается?

— Тишина не по душе?

— Не по душе, верно. Люблю иногда криком кричать. Крик поутру злых джиннов отгоняет, а к вечеру ангелов радует. Не так разве?

— У тебя на любое слово целых два за пазухой. И как? Много ли словами заработать получается?

— Когда как. Не скрою, порой кражей барашков больше выходит. Оно ж выгоднее, одна беда: поймают — выпорют.

— Ну, положим, за написанное иногда не только боками и спиной, но головой расплачиваться приходится.

— Ничего, я готов. Написанное не ворованное, и слово на пергаменте или бумаге на порядок почетнее барашков украденных.

«...Каждому кажется, что именно с его смертью жизнь на Земле прекращается, все вокруг проваливается во тьму и забвение, мыслится, что как все с него началось, так оно им и закончится, все созданное по слову Милостивого, разлитое морями и рассыпанное пустынями, что натянута пологом небосвода и усажено зеленью оазисов, что омыто реками и разбросано степями, все это на каждом начинается и со смертью его заканчивается, там раскалывается солнце и сворачивается небосвод, а свернувшись и расколовшись, засыпаются землями и заливаются реками», — причитала тем временем женщина, раскачиваясь и поигрывая четками, не добротпорядочными четками о двенадцати или девяноста девяти зерен, для восхваления имамов или произношения имен Господа, а странными какими-то, с играющими даже в полумраке гранями. У Насими разболелась голова, застучало в висках, перед глазами пошли разноцветные круги, и все вокруг: и женщина, и ее слова, и курильница, и четки, и сам Ходжа — тоже начали растворяться в потоках жаркого воздуха, впрочем, он, Ходжа, и сам чувствовал себя не лучше, а точнее, испытывал то же самое — головную боль, стук в висках, отяжелевшее дыхание и страх, появившийся ниоткуда, пропитавший все вокруг и уже хватавший друзей за горло холодными лапами. Очнулись они оба уже на воздухе, и то, только после того, как женщина смочила им лбы водой, разведенной пополам с уксусом. «Теперь уходите, да побыстрее. Заклятий на вас много наложено, и порчены вы оба сглазом сильным, особенно ты, стихотворец. Берегись на узлы дующего, и слова написанного, а кто его напишет, да кому передаст — не знаю, не ведаю. Всей порчи я снять не смогла, силы уже не те, потому и платы мне с вас не надо, не возьму, с меня хватит и того, что в пути обо мне молчать будете и никому словом не обмолвитесь. Дорогу же сюда навсегда забудьте, словно и не приходили никогда. А да хоть и говорите каждому встречному и любому поперечному, все равно дорога вас больше сюда не приведет — это я ясно вижу», — сказала и, словно ветром подхваченная, не попрощавшись, исчезла в глубине дома...

...И увидел Насими со спутниками цепочку слепых детей, что шли им навстречу, гремя кружками для подаяния и распевая траурные гимны по убиенным имамам и мученикам... подойдя ближе, он поздоровался, и присев на корточки так, чтобы быть вровень с самым старшим из мальчиков, спросил, кто они и откуда и были ли они рождены во тьме или же ослепли из-за оспы... и рассказал ему старший из детей почти спокойным голосом, что все они были ослеплены нынешним властителем Багдада (да продлит его дни всемогущий Аллах) за грехи отцов, а грех родительский был велик и страшен: они не поддержали очередного венценосца в его борьбе за престол, и, победив родного брата и задушив его шелковой петлей, новый повелитель не стал отнимать у старых вельмож ни казны, ни имений, а забрал у них детей и приказал ослепить, после чего выслать их за пределы города без права входа в ворота столицы до возраста полной бороды... Насими прикрыл лицо рукой, чтобы никто не видел его слез, но так и не сумел сдвинуть себе горло так, что-

бы никто не слышал его рыданий... дорога, она вообще много чего видела, и в День расплаты за многих и о многом свидетельствовать станет, с кого часть грехов снята будет, а кому прибавлена, аминь...

...Устали, умаялись и, уже подходя к Диярбекиру (часа два пути оставалось, не больше), решили отдохнуть, перекусить да и случившееся обсудить. Остановились, купили у работавших в поле крестьян арбуза, хлеба и сыра, преломили хлеб и заметили направлявшегося в их сторону человека. Законы вежливости требуют пригласить разделить трапезу, что друзья и сделали, а для начала вежливо поздоровались. Подошедший ответил на приветствие, чуть наклонил голову в знак благодарности, присел, и завелась неспешная беседа людей, которые никуда не торопятся, но точно знают, куда и к какому сроку им необходимо попасть. Лицо странника было одним из тех особенных лиц, по которому сложно судить о возрасте. Его обладателю может быть и восемнадцать, и тридцать пять, но стареют такие люди как-то внезапно, раз — и ложатся морщины по всему лицу географической сеткой, опутают подглазья, изгрызут щеки — и все за пару месяцев, полгода максимум... одет он был небогато, но практично и чистенько, сразу видно, знает, что в дороге нужно, а без чего и обойтись можно. Не рвань, не дрань, себя уважает, дороге и встречным почтение оказывает, видом непотребным не оскорбляет, но и не заискивает, чем надо — запасся, а что не нужно — то позади оставил. О пустяках поговорили, как водится, кто, что да куда направляется, откуда родом и все ли в родных краях слава богу. Странник заметил цепкий взгляд Насими, скользнувший по его ношенной одежде, и, словно прочитав мысли сотрапезника, сказал: «На что мне дом и новая одежда, если Махди (Мессия) может прийти внезапно». Равнодушно так сказал, будто бы знал о Часе воздаяния и Последней битве, замолчал, после чего так же равнодушно принял кусок арбуза и сыра, которые протянул ему Имадеддин. Поблагодарил кивком головы, он, по-видимому, не любил разговаривать и вполне обходился кивками и жестами там, где можно обойтись без слов. Ходже спокойно не сиделось, и он не смог отказать себе в удовольствии съязвить насчет того, что вот, мол, с минуты на минуту может начаться дождь, Мессии все не видать, а крыша над головой очень даже пригодилась бы. Странник посмотрел сквозь насмешника, не осадил, не стал возражать, пренебрег, но словно ни к чему ответил: «До города пара часов пути, с человеком странствующим за этот срок всякое случиться может. Вы прямо в город не идите, тут неподалеку интересный человек живет. Зайдите, побеседуйте. Правда, может статься, что он с вами беседовать не захочет, он не со всеми разговаривает, но за неуважение не сочтите, сделайте скидку на мудрость». Сказал, отряхнул полы халата от крошек, провел рукой по бороде, возблагодарив Аллаха за ниспосланный кусок хлеба, поблагодарил собеседников и так же степенно удалился. Пока Ходжа, как человек, стихов не пишуший и, как следствие, более практичный, собирал недоеденное в мешок, Насими смотрел вслед страннику, потом пробормотал: «Я принесу вам слово Божье, я правдой осиян» — или что-то в этом роде и попросил Ходжу помочь подобрать рифму к слову «прям». «Дрян» — ехидно ответил Ходжа и поторопил поэта, нечего, мол, расслаиваться, в городские ворота лучше затемно входить, а если он, Насими, хочет еще и с человеком побеседовать, как ему странник посоветовал, то ему, Насими, лучше бы поторопиться, потому что Бог знает на сколько эта беседа затянуться может. А стихи и потом дописать можно...

Коль ты не глуп — не жадничай, тогда,
Как мышь, не струсил в страшный день Суда,

За пищу не продайся подлецам,
Хлеб не найдешь — тебя найдет он сам...

...И слышал я от тех, кто постарше, что не годится человеку на волю Бога и соизволение Его роптать, а в доказательство, что не пустословие это, помимо своей седебородости и примеров из Святых Книг, сказывали они, что жил в давние времена в окрестностях Диярбекира суфий Байрам Вели, удивлявший многих мудрых не столько ученостью своей, сколько умением, вовремя слово чужое поймав, им же оппонента к стенке прижать или на свою пользу обернуть. Спору нет, умный был мужичина, образованный, недюжинным даром владел — людей убеждать... Одни говорят, что эта история с ним произошла, кто-то о другом суфии, о Бахаэддине Накшбанде, упоминает. Мое дело — о случае рассказать, а уж кто и какой из нее вывод сделает — меня не касается.

Ветер, что пришел из пустыни, принес с собой засуху... тщетно молили люди о влаге, тщетно просила земля о воде, но ветер пустынь усиливался и свистел злобно в переулках: я вам надуую голод, принесу-у-у вам бесхлебицу... и осунулись отцы, и украдкой смахивали слезы матери, и громко плакали дети, одни ростовщики да богатеи злорадно потирали ладони... И продолжалось так до тех пор, пока измучившиеся в ожиданиях, исхудавшие от поста и молитв крестьяне не явились к дому Байрама и не просили его помолиться о дожде, мол, его молитва, человека праведного и ученого, до Бога быстрее дойдет. А заодно и спросили, как человека сведущего, почему Бог не посылает им милость в виде дождя и чем именно они могли прогневить Его... и пришел тогда Байрам на людную площадь, заметил там молодую женщину с младенцем и принялся ходить за ней следом, жалостливо повторяя так, чтобы она слышала: «Ну покорми же ребенка, разве ты не видишь, что он голоден, разве шайтан ослепил тебя и тебе не видны детские слезы, ну покорми же его поскорее, или Господь запечатал сердце твое, и нет в нем больше любви и милосердия? Чем он тебя так разгневал, что ты не даешь ему насытиться?» И продолжалось это до тех пор, пока женщина не обернулась к нему в гневе и не ответила: «Поди прочь, это мой ребенок, и мне виднее, когда его кормить, а когда нет, сама разберусь». Услыхав эти слова, Байрам сразу же прекратил канючить, повернулся к толпе зевак, что увязывались за ним всякий раз, когда он попадал в людное место, и сказал: «Вы слышали слова этой женщины? Так идите и расскажите о них тем, кто не слышал». Умен, пронырлив, авторитетен... к такому только за мудростью и ходить, если очередь выстоять сможешь... сможешь — наберешься если не мудрости, то практичности, она и тогда высоко ценилась. Одному Богу известно, что в нашей жизни важнее да нужнее: мудрость или практичность...

...К такому вот человеку Насими и отправился. Подойдя к дому Вели, Насими хотел было постучаться в дверь, но будто под воздействием какой-то силы его рука зависла, тело обмякло, он прислонился к стене, словно для того, чтобы перевести дух, задрожал, а когда открылась дверь и в проеме показался Байрам Вели — не смог промолвить ни слова.. Маститый суфий посмотрел сквозь Имадеддина, покачал головой, словно отгоняя какое-то ужасное видение, и с глубокой, какой-то неземной тоской и жалостью, будто увидел то, что до поры до времени сокрыто от прочих, и ему, Байраму, не избыть этого видения, как и герою видения — такого будущего не избежать, произнес: «Не могу я с тобой разговаривать». Дверь захлопнулась, и Насими упал бы навзничь, если б подоспевший Ходжа не поддержал его под руку. Отвел в сторонку, ругался, зачем, мол, с пути сбились да с дороги сошли, вот шли бы себе прямо в Диярбекир, жевали бы фрукты сушеные, а нет — так мяса поесть куда-нибудь заглянули бы, давно, мол, жареного не ели, вот ноги и не держат. Говорит, успокаива-

ет, зубы заговаривает, а у самого одна мысль в голове шаром огненным вертится: что ж с ним такое делается, что ж тут такое происходит... Пробежала крысой поганой мысль паскудная: что я тут с ним делаю, ну его к шайтану хвостатому, одни беды да боль головная, да и спине порой достается, но отогнал ее, как человека и мужчины недостойную — не годится дорожного товарища бросать, Бог разгневется, а гнев Его страшен, не зря ведь старики рассказывали о человеке, у которого спросили насчет его родного брата: какой он, мол, человек, а тот отвечивал, что не знаю, не ведаю, я с ним в путь-дорогу не выходил и обратно не возвращался.. а раз так — то друг мой — крест мой, не я выбрал, обстоятельства да судьба свели, лбами столкнули, а столкнув — нужным сочли, чтоб товарищами стали. Пройдет много лет, и на каторге, в далекой северной стране, люди станут говорить: «Нешто я товарища продам?», и есть в этом величие духа человеческого и, наверное, залог того, что чаша гнева Господня не переполнится, пока один человек другого под руку поддерживает, а не лежать оставляет.. отвел, усадил да снова как мог в себя привел, успокоил, заговорил, да все с шуточками, чтоб мысли тяжелые отогнать, да друга развеять... видел, понимал, что не телесная это болезнь, да и не душевная, а просто... нахлынет что-то волной горячеей, скует движения, затуманит сознание, а как отпустит — так и придет к Насими вдохновение, пойдут слова ручьем чистым, водой незамутненной, да так, что века пройдут, а люди их помнить будут:

Как таинство, как талисман, я в этот мир пришел,
Я в смерти канул без следа и в вечность, словно след, пришел,

Я с талисмана снял покров, и мрак от света стал багров,
Я миновал следы миров и, в эту плоть одет, пришел.

И славу Богу я воздам, в котором был исток мирам,
А имя будет мне — Адам, я за Творцом вослед пришел...

(Перевод Сергея Иванова)

...Вот как он писал, и вот каким его наизусть заучивали. А заучив — запомнили, да так крепко запомнили, что до сих пор не забывают, почти шестьсот лет без самой малости, как ушел и не дышит, а все равно вдохновляет, сам больше не пишет, а других заставляет, глаза закрыл и, закрытыми, другим глаза сомкнуть не дает. Жил себе человек, ел руками, сидел на полу, ходил пешком или за караваном увязавшись — а ведь помнят, читают и заучивают... чудны дела Твои, Господи... Отдыхался Насими в тенечке, провел рукой по лицу, словно бы наваждение отгонял, и спросил у товарища:

- Слушай... А что там... только что было-то?
- Ничего. Точнее, все почти как в прошлый раз. Ничего не помнишь?
- Свет помню. Яркий такой. Со всех сторон.
- А потом ты зашатался, схватился рукой за наличник, а этот.. ну...
- Байрам.

— Да, а Байрам сказал, что с тобой говорить не может. Не в смысле, что погнушался, а как-то с тоской сказал, сожалея. Мол, я бы поговорил, да.. не у меня на тебя времени нет, а у тебя на меня не хватит. Или о чем другом жалел, но без наглости сказал, с тоской какой-то, что ли...

— Он суфий. Кажется.

— А ты поэт. И что с того? Каждый по-своему на хлеб зарабатывает. Ты же сам лучше других знаешь, что такое любовь, Насими... с дождем наземь прольется,

одежду намочит, сквозь кожу впитается, а потом за отворот халата прихватит и в челюсть стукнет, легонечко так, чтоб мозготрясение несильное вызвать, не более... и как развернет, раз уж в захват пальцев стальных попался... как шмякнет со всей силы об стену, не саманную, что проломить легче легкого, а прочную, цельнокаменную... Сейчас я тебя развею. Продолжи, раз уж поэт...

— Да... затылком ударишься, лопатками распнешься, глаза выкатишь, и медленно по ней, по каменной, вниз сползать начинаешь... а как упрешься и дальше уже ползти некуда станет — потечет слюна из левого уголка рта струйкой тонкой... сидишь себе, улыбаешься дурашливо, истекаешь капельно, понемногу так... на полу ли, на земле ли, то не важно совсем... даже скалишься слегка... а она все вокруг витает да ворот твой тебе на шею наматывает... запах ее во всем чувствуется, и то ли от запаха того, то ли от сотрясения голова кружится, даже днем звезды с луной видятся, да с солнцем одновременно... а селезенка с печенькой от удара местами меняются, глаз левый в глазницу правую смещается, правый же, наоборот, на место левого переходит... и потому все вокруг в другом свете видится, в другом запахе чувствуется, даже трогаются по-иному... но гораздо лучше, если чувства выгорят единым взрывом, чем сдохнут в медленных муках на веревках ее волос, запутавшихся в твоём гребне... пусть они будут растоптаны ее обувью, которая когда-то казалась такой изящной, а теперь стертый каблук портит все впечатление и заставляет скрипнуть зубами... грустное зрелище эта умирающая любовь.. она должна уйти, чтобы, разлагаясь, не заразить тебя трупным ядом...

— Красиво. Уроки Фазлуллаха?

— Нет, собственные ощущения... он лишь направил... учитель только придает форму, а глину для него оставляет Всевышний...

— Первопричина...

— Именно...

— А грех? Зло?

— Все в Нем... и начало, и конец... мы лишь выбираем дорогу... и можем попытаться достичь единения с Богом..

— Ну, это ты, предположим, загнул.. единения... как же я с Ним единения-то достигну? Я слаб, грешен, выпиваю опять же... да и ты не чураться.. Или ты через бурдюк с вином объединиться норовишь? Тьфу, довел ведь до греха, согрешил я словом по вине твоей, прости мне, Господи, прости грех языка моего.

— Знаешь, что говорит Гемара? Если человек видит, что злое начало в нем побеждает, то пусть пойдет в другой город, где никто не знает ни отца его, ни матери, ни сестры, ни брата. Там пусть оденется во все черное и сделает то, чего желает сердце его.

— А что такое Гемара? И зачем идти в другой город для совершения злого дела, если его прекрасно можно совершить на собственной улице?

— Гемара — мудрость иудеев. А идти в другой город надо для того, чтобы в дороге от намерения злого отвратиться. Путь всегда очищает...

— Гемара... Так ты изучал мудрость иудеев?

— Учитель знал многое и просвещал нас о мудрости всех народов, что были ему известны. Только о часе смерти своей да о Дне взвешивания понятия не имел. Это сокрыто от понимания смертного...

— Еще бы.. нам только волю дай... разболтаем же...

— Нет.. просто знай мы о точном часе Дня воскресения, он просто потеряет смысл...

— Будем исправляться по мере его приближения?

— Да... а потому дела наши перестанут быть искренними.

— Но Он же ведает сердце людское и все, что от взора сокрыто.

- Ответ кроется в твоём вопросе. Искренность — она людям нужнее, Он так и так видит и тайное, и явное, в руке Его и воздаяние, и наказание...
- У Него правда?
- Внутри нас она, Ходжа, внутри нас... вместе с Ним, вместе с частичкой Его... и разве души наши не могут быть искрами от огня Его?
- Это для меня слишком сложно. Есть земля, и я трогаю её руками, вот так... есть рассвет, и я его вижу, есть запах дыма, и я его чувствую...
- Но ты же не видишь воздуха.. однако без него не проживешь и пары минут.
- Я вижу воздух, Насими, я его вижу. Например, когда он горяч и поднимается над жаровней или раскаленным барханом.
- Для того чтобы ты его увидел, воздух должен быть горячим. С Богом то же самое, только наоборот..
- Хе.. как это, «то же самое, только наоборот»?
- Ты.. сам должен быть достаточно горяч, чтобы Его увидеть...
- Насими, ты ушел из Ширвана чернобородым, а теперь и виски серебрятся, и по бороде дождь дирхемами¹⁶ прошелся... а все ерунду говоришь, возрасту не соответствующую...
- Когда годы размалываются мельницей времени, их мука сыплется на голову...
- И на бороду попадает... Знаешь, недалеко отсюда живет один народ... у них есть интересный обычай. Достигнув возраста тридцати четырех, они, вне зависимости от того, богат человек или беден, оставляют дом и семью и уходят в большой город просить подавание. Ровно три года во всему свету бродят, просят, юридствуют.
- Не совсем улавливаю, хотя начинаю понимать.
- Ставят себя на место неимущего.. А потому у них в стане всегда накормят, одежду дадут или помогут советом.
- А что же нищие да нуждающиеся в советах со всего света не стекаются к ним, раз там сытно и можно прибахлиться?
- А я знаю?
- Пошли, что ли, к ним? За советом...
- Ты, Насими, сам, кому хочешь, два хурджина с советами надавать сможешь. Только в своем разобраться не в силах.. отчего так?
- Судьба, Ходжа... ведь ни больше положенного не съест, ни меньше.. эта тема, насчет пожрать, тебе должна быть особенно близка..
- Ой, ты, что ли, пожрать не любишь?
- Ну ты как ребенок, Ходжа... поближе к арыку посидеть, песком пошвыряться, в чужой сад залезть...
- Кстати, насчет чужого сада... давно у нас баб не было... вот в город придем...
- Да... в городах всего много.... а какие женщины тебе нравятся?
- Чтобы глаза горящие были да лоно бритое и покорное... а тебе?
- Угол, Ходжа...
- Как это понимать, угол?
- У женщины должна быть маленькая ступня.. угол между кончиком ее носа и большим пальцем ноги не должен быть больше восьми градусов...
- Погоди, дай подумать... а если у нее длинный нос и мой сапог в пору придется? Угол тогда между носом и пальчиком даже меньше восьми градусов будет. Или я неправ?
- Прав. Но дело не в носе и пальцах, а в пропорции.

¹⁶ Серебряная монета.

- Сложно у тебя все, Насими... попроще нельзя? Понравилась — и все тут, чего копать-то, какое тебе дело до углов, градусов, соотношений и пропорций?
- А тебе не приходило в голову, что мне могут нравиться женщины только с такими пропорциями?
- Приходило. Вот и думаю я, что не только у тебя все сложно, но и тебе самому все сложнее и сложнее...
- Человек должен быть сложным, Ходжа.. ему полагается быть сложным, потому как простота присуща бессловесным мулам... или ослам...
- Ослам, говоришь... Язва ты, язва пишущая... о сложности говоришь, а вина простого не сторонись, о Боге рассуждать дерзаешь, а женщин любишь, вот и получается, что святости в тебе — самую малость...
- Не претендую... а женщины... Ты когда-нибудь испытывал жажду, находясь на лодке?
- Да, бывало... воздух реки часто иссушает губы.
- Зачерпывал воду горстью, наклонясь над бортом?
- Зачерпывал, конечно. А зачем ты спрашиваешь, Имадеддин? К чему клонишь?
- С правого борта или с левого?
- Ну.. с какого удобнее, с того и зачерпывал. Прямо спроси, а?
- Не торопи ход моих мыслей, терпение — добродетель странствующего. А теперь ответь, разницу во вкусе воды чувствовал?
- Да нет вроде бы, вода и вода, везде одинакова...
- Так же и с женщинами...
- Разумно... давно бы так... а то загнешь насчет кончика носа и пальца ноги... угол ему подавай, видите ли...
- Это другое, Ходжа... понимаешь, угол — это канон... а она... может не соответствовать образу, который ты сам себе когда-то нарисовал, но тем не менее оказаться той самой... она вне рамок, вне времени, вне ощущений, даже вне внешности...
- Опять за свое... говоришь непонятно, пишешь неясно, и с чего только тебя люди слушают да повторяют.
- Сердцем слышат, наверное.
- А ты самодовольный... стал таким или всегда был?
- Всегда был... люди вообще не меняются, Ходжа, они просто показывают свои скрытые грани при подходящем случае... потому внимательно наблюдая за мелочами в словах и поступках собеседника, ты можешь оградить себя от вреда, который он способен тебе причинить...
- Гладко все у тебя на словах, складно... а чего же сам тогда неогражденным ходишь, очаровываешься да образы рисуешь?
- А так интереснее...
- Ну-ну... наивный вы народ, поэты... и вечно носы свои в дела, к вам касательства не имеющие, засовываете...
- Никак понять не могу, ты на самом деле полоумный и не понимаешь ничего или умело придуриваешься?
- А так легче. Знаешь, Имадеддин, чем мудрецом быть и об убогих да тронутых сокрушаться, лучше самому дурачком прикинуться, и пускай обо мне мудрые думают. Или плачут. Или и то, и другое. Вот ты обо мне поплачешь при случае?
- Когда от злости и злоязычия твоя желчь разольется по жилам, после чего тебя хватит удар, обещаю, что первые три дня только этим и буду заниматься.
- Чем «этим»?
- Слезы лить. И сокрушаться, разумеется. Громогласно, на людях.

— А сам от разлития желчи помереть не боишься? Или молитву специальную нашел и регулярно читаешь?

— Не боюсь... Совсем уже отбоялся, наверное, и почти отмолился..

— Когда перестал?

— Бояться? Или молиться?

— Начни с молитвы, а там и до страха рукой подать...

— Они повесили жену учителя на главных воротах Тебриза.

— Бабу? А ее-то за что?

— Она не была бабой, Ходжа, она была женщиной... наверное, потому и казнили... и надо признать, мужества у нее было больше, чем у Фазлуллаха... он только ею и держался последние пару лет... из Алынджи, правда, до осады отослать успел, а вот в Тебризе не уберег, не сумел... самого уже к тому времени не стало...

— Судьба, Насими, судьба... от нее хоть в Тебриз беги, хоть в Дербенте прячься, настигнет и поздоровается... повесили, говоришь..

— Да... повесили... а перед этим ржавым гвоздем на теле буквы алфавита выцарапали... по живому телу...

— Буквы... А какой алфавит был? Арабский или фарси?

— А какая разница?

— Большая, поэт, не мне тебя учить, что в персидском алфавите на целых пять букв больше мучиться...

— Да...

— На детали смотри, на детали... не на мелочи внимание обращай, а на детали...

— Жизнь человеческая — тоже деталь?

— Я не о жизни... хотя и о ней тоже... а за что ее приговорили?

— Семья отступника — вне закона...

— Да... знакомо...

— Мне восемь лет было. Сажу как-то раз на берегу реки, камешки в воду бросаю, на круги расходящиеся смотрю... как подрост, так много рек, камней и кругов повидал, но таких камешков, которыми играл в детстве, и таких кругов, как на той глади, нигде больше не было.. наверное, они навсегда остались там... где я играл в детстве... а ты, Ходжа, хотел бы туда вернуться? Туда, где играл в детстве?

— Хотел бы, конечно. Ни забот, ни трудов. Я же сын гончара, а потому мое детство не было долгим и беззаботным.

— И у меня отец не из сборщиков податей.

— Хвала Аллаху, Господу миров, да не запятнает позор рабов Его.

— Аминь.

— А с чего ты вдруг о детстве вспомнил?

— Ах, да. Так вот, сажу я как-то, камешки перебираю, ищу, который плоский, чтобы по воде его запустить, да так запустить, чтобы он, оттолкнувшись несколько раз от глади ее, до другого берега долетел. Да так и не получилось... не долетел мой камень до другого берега...

— Не ной ты, ради Аллаха, есть хлеб и есть сыр, и камнями они не обернутся.

— Я же не об этом.

— Зато я об этом. Есть ли смысл думать о камне, когда хлеба хватает?

— Если не долетел, то да...

...И шли они теми же дорогами, что люди за сотню лет до них исходили да истоптали, проложили и отметили, потом оросили, шли они теми же путями, кото-

рыми шли закованные в медь и железо армии Дария и Искандера Двурогого, туда — належке, а обратно — сгибаясь под тяжестью награбленного... шли они по путям, политым слезами невольников, и от жара полуденного и морока сопутствующего им казалось порой, что только ляг ничком, приложи ухо к земле — и услышишь гул шагов, свист плетей, верблюжий рев, человеческий плач, ругань погонщиков, проклятия надсмотрщиков, призывы кары Аллаха на головы нечестивцев и обещания... только приложи — и услышишь топот коней пращуров, голоса, благословения, стоны обессиленных долгой дорогой, жалобы взятых в плен и обращенных в рабство, услышишь голос надежды рабов, которые мечтают сломать колодки об головы своих надсмотрщиков и в горячечном бреде обещают выколоть глаза их детям, вырвать лона их женам, выпустить кровь их коням и уйти обратно в Керулен, в час, когда над степью сгущаются сумерки. Ляг ничком — и услышишь, как они уходят в ночь, потому что их ослабили скудная пища и тяжелая работа и дневного пути под не знающим снисхождения солнцем Юга они просто не вынесут. Услышишь, как они упадут, пройдя ровно одну седьмую пути, и над их телами не возведут курганов, потому что выстоявшие на ногах будут завидовать упавшим навзничь. Ты услышишь, как их кости зарастают травой и как их черепами играют дети из проклятого рода Йонну, что из племени карлуков, а тот, над кем нет кургана, обречен на бесконечные скитания до горизонта и обратно, ему не видать Рая и не созерцать Создателя в лучах славы Его, и наложницы, что восстанавливают свою девственность каждую ночь, не станут ласкать его утомленного и рассеченного тела. Род Йонну, что из племени карлуков, был проклят за насмешку над обычаем и неуважение к телу и духу их прародителя, который был оставлен лежать непогребенным среди барханов на растерзание воронам и степным псам, как это принято у грязных и нечестивых, поклоняющихся солнцу и огню, молящихся созданному, а не Создателю и умывающихся бычьей уриной, а не дождевой водой. Не уподобляйся им, хорони своих усопших головой в сторону Города, на котором почивает Благодать, не кланяйся идолам, не входи к женщине, истекающей кровью, не ешь мерзкого с клыками или раздвоенными копытами, не собирай налогов с сироты и вдовы, не женись одновременно на женщине и дочери ее, не касайся нечистоты, а если коснулся, то оботри руки, ступни и лицо свое сухой землей или песком, если вокруг нет воды на два часа пути. И если ты встретишь бритобородого проповедника в белой одежде с золотым обручем на лбу и белыми, сияющими в постоянной улыбке зубами, разрежь его от плеча до печени, убей его учеников и сожги его книги, ведь он из проклятых, из заблуждающих и сеющих пустоту и нечестие, и если ты не сотрешь его печень в порошок, он не даст покоя племени твоему, и роду, и земле твоей, и придет с законом своим на площади твои, и осквернит святыни, и напоит лошадей из купели Храма твоего, и введет ослов в киблу мечети твоей. Убей его без жалости и сожаления. Но если ты встретишь в степи одинокого странника в войлочном колпаке, поделись с ним сыром из своей котомки и молоком своей кобылицы, ведь завтра на его месте можешь оказаться ты, и тогда все отданное тобою обязательно к тебе вернется. Это просто Закон Человеческого Общежития, просто Великий Закон Обыкновенного Странника. Незатейливый, как рисунок на твоём халате, сладкогорький, как запах рейхана, жесткий, как твоё ложе, и прямой, как стрелы дикорастущего чеснока... и шли они, и падали ниц во время молитвы, и вслушивались в Гул Земной, и думали, и помнили, и чувствовали, а Насими, подумав, запомнив и прочувствовав, все в строчки рифмованные сложить пытался и каждой женщине, что в пути через него проходила, даровал в стихах жизнь долгую, потому что был в состоянии дать лишь то, над чем властен, а над чем не властен...

...Неблизкий путь по многим землям и среди многих народов — штука опасная, особенно если все вокруг пока не горит, но вот-вот синим пламенем зайтись обещает. Самое разумное — к каравану прибиться. Там, в караване, люди опытные, бывалые, без малого весь Восток туда и обратно исходившие, везде торговавшие, в обман не дававшиеся и покупателя не обманывавшие, честно отмеривали, по совести отвечивали, твердо памятуя о Страшном суде и покупателях, которые могут отвернуться. Базар — место такое, где и побить запросто могут, за обман, за обвес, и за невежливое обращение без уважения... Присоединились наши герои к каравану, что в Анкару шел, а идя в Анкару, Диярбекира миновать никак не получится... и почему бы двум честным путникам к каравану не присоединиться? Не воровать же идут, не сирых обижать, торговать хотят, без обману, без обвеса, для обоюдной выгоды, чтоб и покупателю честь, и продавцу не убыток... и мало ли к торговому делу, малой прибылью кормясь, людей прибивается? Кто с тканей, кто с масла ароматного, да мало ли с чего? Что не динаром, то, глядишь, с Божьей помощью, дирхемом в конце недели и обернется... а не обернется, так все равно, около людей крутятся, всегда сыт будешь... ну кто ж тебе в куске хлеба с сыром откажет, раз ведешь себя человечно, всегда помочь готов и окружающими не брезгуешь? Есть сядут — и тебя позовут, хлеб преломят, плошку наполнят...

Бродяги-путники наши, пройдя через главные городские ворота, вежливо поприветствовав стражников (да не затулятся, мол, ваши мечи, да не треснут ваши щиты), заплатив положенную пошлину, потолкались среди людей, выясняя две самые во все времена важные вещи: а где тут, товарищи, можно поесть, чтобы недорого, но вкусно, и кто у вас здесь, уважаемые, лучший насчет оружия? Нет, почтеннейшие, спасибо, где поспать, мы сами разыщем, — знакомцы у нас (опасливо придерживая руками кошельки, и что с того, что денег в них почти нет?) в паре переулков отсюда... И, пройдя через городские ворота Диярбекира, Насими совершил омовение и отправился в мечеть, где сначала долго сидел у стены, повторяя зикры, а потом исступленно молился, долго-долго повторяя одну лишь фразу: «Господи, сделай же так, чтобы мне никогда-никогда не пришлось стыдиться за сделанное или несделанное, за сказанное, несказанное или недосказанное, за все написанное или что-то ненаписанное, грехи мои велики, но и ноша моя тяжела, так зачти же мне одно за другое прямым расчетом, Господи, из кожи не вылезу и души не выплуну, и что Ты возложил на меня, то и стану нести, чем облагодетельствовал, то и утаивать не буду, не смогу, не снесу, не получится...» И расспросили путники добрых людей о том, кто в городе и его окрестностях самый лучший насчет оружия... самый лучший и самый честный. Получив же ответ и поблагодарив любезного разносчика сахарной воды (дорогу указал именно он, наиболее разговорчивый и добродушный из всех встреченных. Добрый малый сказал, что мастера зовут Ахмед, что у него сварливая жена, четверо детей, мал мала меньше, но тем не менее мастер Ахмед каждый четверг навещается в дом к одной недавно овдовевшей женщине, а чем они там занимаются — одному Аллаху ведомо). Друзья слегка опешили от обилия вываленной на них информации и пошли в кузнечные ряды (оружейная часть, третья кузница, если считать от северных ворот).

— Салам алейкум, уста Ахмед. Да не остынет очаг твой, ни в доме, ни в кузне.

— Ва-aleyкум-салам, благородные путники. Присаживайтесь, отдохните с дороги. Эй, подмастерья, принесите гостям прохладной воды. Может быть, мои достойные гости голодны?

— Благодарю, уста, да останется Аллах доволен тобой и твоим благородным родом. У нас к тебе дело, и заранее прости за то, что отвлекаем тебя от работы.

- Я весь к вашим услугам, уважаемые.
- Оцени этот кинжал, мастер, и заточи его или посоветуй что-нибудь равноценное, если сочтешь его не стоящим починки. И еще я хотел бы присмотреть что-нибудь для моего друга.
- Хороший кинжал. Я заточу его и немного укреплю рукоятку. А вот менять не советую, это очень надежная сталь, редкой закалки.
- Пусть будет так, как скажет человек знающий.
- А какого рода оружие нужно твоему другу?
- Что-нибудь, что можно легко спрятать.
- Могу предложить посох. Скажем, вот этот. Он очень легко открывается, сттит лишь слегка повернуть кисть руки в свою сторону. И заметьте, что он ничем не отличается от сотни тысяч других посохов.
- А у достопочтенного мастера есть браслеты? такие вот... ну.. несколько необычные...
- Которые позволяют избавиться от веревок на руках? Есть... вот.. инкрустированные бирюзой... Это для женщин, но из уважения к странникам, и в особенности к вам, многопочтеннейший Насими, я могу сделать другие... совершенно бесплатно, мужского типа, с незатейливым и скромным узором. С вас... один момент... с вас причитается два дирхема. За заточку кинжала и медные кольца для обхвата рукоятки.
- А...
- Я узнал твоего спутника, благородный странник. Для меня великая честь оказать самому Насими столь незначительную услугу.
- Но...
- По глазам узнал... И пальцам трясущимся... да и слухи, уважаемые... слава ведь всегда впереди человека бежит, что добрая, что дурная, и стражников обойдя, первой в город входит... А если начистоту, так разносчик сахарной воды ко мне раньше вас явился и все разболтал. Работа у него такая — с людьми разговаривать.
- Прямо как у меня.
- В некотором роде, досточтимый поэт. Сладость воды, что он разносит, — ничто в сравнении со сладостью тобой написанного.
- Благодарю, ваша любезность ничуть не уступает вашему мастерству. Роскошный кинжал. Дамасская сталь?
- Мы давно научились делать сталь ничуть не хуже дамасской, Имадеддин-бей¹⁷. Равно как и писать стихи, ничем не уступающие стихам персидских поэтов.

Душа города, сердце города и его же, города, простата — это базар. И сейчас в любом городе есть место, что, те же функции выполняя, с легкостью старый базар заменяет... а помимо места, что заменяет простату и сердце, есть места, миновать которые никто не в состоянии, потому что любая вера гласит: всяк да явится перед Создателем чисто омытым по смерти своей. И если при жизни ты умываниями, омовениями и вообще гигиеной пренебрегал, то как отдашь Богу душу — тебя родственники по обычаю сперва омоют, а потом сразу в храм Божий волокут, на отпевание. Ну, отпевания, слова напеваемые да ноты, конечно, от конфессии зависят, но смысл великий в последнем омовении есть...

Не стоит деревня без юродивого, дом — без праведника, базар — без начальства и заведения питейного. А в питейном заведении разные люди собираются. А приди и собравшись, напитки и компанию вкусам сообразно выбирают. За шестьсот

¹⁷ Господин.

прошедших лет так ничего нигде и не изменилось: кто в одиночестве за столом притулился, кто в компании шумной, кто под столом бабу срамно лапает, а кто, приличия блюдя, терпеливо прихода домой дожидается. Там, мол, пошупаю, и мяса твои никуда от меня не денутся. Дома же питейные и места увеселительные по совместительству в те времена назывались «мейхана». «Мей» — на фарси «вино». «Хана» — помещение. Мей-хана. Помещение, где вино пьют. На ковры усядутся, пригубят чаши, развеселят тела, огрустят души. Огрустив же, поэтов пригласят, а пригласив, тему подбрасывают, импровизируйте, мол, про жен сварливых или женщин любимых, про налоги высокие да судей бессовестных, про кровь пролитую да дела стародавние, а мы восклицаниями одобрительными словесные обороты судить станем. Потому как хорошее слово — оно всегда вроде музыки, ароматным маслом раны умягчает да шрамы стягивает... Огляделся Ходжа у входа и, Насими вперед пропуская, локтем подтолкнул, давай проходи, мол, садись, самое тут тебе место, поэт поротый, стихотворец вороватый, покажи людям, что умеешь, что, складывая, запоминаешь не записывая, а что записываешь, то на всякий случай в подкладку одежды зашиваешь, садись, стенографист Божий: что Он нашепчет, что Он подскажет, — то ты и запишешь-запомнишь-обработаешь-продекламируешь, Ему на славу, себе — на уважение, а людям понимающим — на радость великую... Люди сходили с ума и напевали стихи Имадеддина на всех углах необъятного Востока... того, который дело тонкое, где поэзия муслиновая, слова бархатные, лапки железные, где стелют мягко, где спится жестко, где все падают, а за соломокой никто не идет, где все крепки задним умом, где все поэты, каждый философ, и во всем, разумеется, лучше всех прочих разбирается... rrrrrрасступись, нарррроды...

...Певцу-декламатору или дервишу-рапсоду в доме питейном, в мейхане шумной — чашу или, там, пиалу наиглубочайшую первому подносят, на месте почетном, на топчане верхотурном уважительно усадив, с просьбой обращаются, спой, мол, странник, рода-племени благородного, спой нам, на стихи поэта в колпаке войлочном, песню трогательную, душу рвущую, душу рвущую да наизнанку выворачивающую... и расступаются люди, шербет хлещущие, люди винопийствующие, об халаты узорчатые руки вытирают, головы буйные ими, вытертыми, подперев, слушают-вслушиваются, внимая, повторяют и, подпевая тихо, наизусть заучивают... Заучив же, обязательно дальше передают, чтобы не пресеклась, не прервалась песня, чтобы стих не закончился, не оборвался... В разных концах света люди многие, от турков равнинных до пуштунов горных, слова те гортанно распевают, да в такт словам дергаются, кисти рук над головой задирают, и глаза под самый лоб закатывая, завывают стихотворно... а что обделил Всевышний слухом и голосом, так то и не беда вовсе, тут главное — приобщенность, память, действие да движения: правая рука вверх, левая рука вниз, правая рука опять вверх, левая рука снова вниз, и в этих движениях, в этой смене рук есть вполне определенный смысл, потому что правая вверх — левая вниз означает: у Бога попрошу, и как даст Он — бедному отдам, и если у Бога чего выпрошу — так обязательно бедному отдам или поделюсь: мне самому многого не надо, хлеб иногда может быть и черствым, так нам Бог о себе и о бедных напоминает:

Я — вечность, ей нет и не будет конца,
 Я — чудо творенья и сила Творца,
 Я — кравчий, наполнивший чашу познания,
 Я — свет, что пронзит все людские сердца...

Пока тебя на цитаты не растащат да на улице распевать-повторять не станут —

не поэт ты совсем, не писатель, а так, приобщиться стремящийся, в сторону абсолютадвигающийся.

...Это сказывали видевшие слышавшим, а услышавшие поведали записывавшим, записывавшие донесли до читающих, читающие же, из умеющих вчитываться и вслушиваться, донесли до дня сегодняшнего, и да зачтется им прочитанное и услышанное, равно как видевшим — переданное, а всем слышавшим — поведенное, да сотрутся грехи взаимозачетом с делами праведными, зло содеянное — добром сделанным, милостыня — милостью, а слово доброе — Тем Словом, Что В Начале Было, аминь... и сел Насими не на место первое, старших уважая, но и не на последнее, чтобы тем, кто помладше, учтивость да вежливость уроком стала да впрок пошла. Вперед не полез, чтобы никто в тщеславии да нахальстве не упрекнул, но и, самоуничижения чураясь, достойно свое место занял, мол, отнесусь к старшему из сидящих здесь, как к отцу своему, к ровеснику — как к брату доброму, а к тем, кто помладше, — как к сыновьям или братьям меньшим. Ходжа же, памятуя, что в делах поэтических он только тихонько слушать способен, сел себе чинно рядышком, и ни звуком, ни движением единым окружающим далее не докучал. А вот как на-тешут пишущие тщеславие свое да наружу воздухом подышать-поразмяться, в случае недоразумения кулачного, выйдут, он, конечно, себя показать всегда сумеет, да и здесь, если наливать да чокаться станут, от других ни за что не отстанет, потому что чем мы вообще хуже, даром что рифмовать не способны, зато в других делах очень даже пригодиться можем, всякому злаку — свое место...

...И сидели на ковре поэты разные, кто поэт, а кто примазался, кто с душой писал, а кто по капле выдавливал, кто носом ветер чувствовал и, всегда нос по ветру держа, водил прибыльно, а кто как Бог на душу положит каламом водил, кто за халат шелковый, плов ежедневный да чалму белоснежную (цвета молока с сахарным песком) и душу, и совесть в ломбард подтронный заложить согласен, кто мальчишкам уличным горсть орехов отжалееет, чтобы они его стихи по улицам распевали, а кто, слезам совести повинуюсь, ни души, ни тела своего при случае жалеть не станет, не приучен потому что.. пишущие, они ведь, как и все прочие, что по земле ходят, разными бывают... и Насими из ряда того не исключение, может, добрым был, может, злым, может, нервным, а может, спокойным, может, на кошме сидя, пальцами хрустел, а может, перед собой глядя, спокойно своей очереди дожидался, может, на соперников волком глядел, а может, вполне дружелюбно. Сидел Насими, гордо спину выпрямив и других уважая, себя совершенно ниже окружающих не чувствовал, да и с чего бы ему горбиться и тушеваться, раз и осанкой взял, и талантом Бог не обидел? А поэты вокруг на самом деле всякие сидели. Кто талант, а кто примазался, кто конъюнктуру чуя, в стихах правителей прославлял, а кто только по вдохновению за калам брался да рифмы подбирал, кто одежды расшитые отработывал, кто даром Божьим пренебрегать не смел... В общем, все как всегда, и ничего в мире поэтов не изменилось... Насими поприветствовал собравшихся «саламом», сдержанно, как равный равным, поклонился (вежливый медленный наклон головы чуть-чуть влево) и спокойно, не толкаясь, сел на свободное место возле какого-то парня с задумчивым лицом... Ходжа примостился чуть поодаль, но в непосредственной близости от Насими, чтобы при случае шепнуть ему чего на ухо или шепотом сказанное услышать.. да и вообще город чужой, место не так чтобы уж очень знакомое, а потому друг друга держаться надо... Сосед Насими оказался учтивым собеседником, ответил на его приветствие и, ведя беседу вполголоса, даже успел ответить на несколько вопросов, касавшихся собравшихся, кто, мол, тут поэты, а кто просто поглядеть да послушать пришел, что все эти уважаемые люди тут делают да что друг другу говорить будут:

— Это — Абу Рагим, известный жадина и скупердьяй, слава о его прижимистости до самой Басры дошла. А рядом сын купца Фейсала сидит, так еще прижимистей Абу Рагима, а вон тот, с бельмом на глазу, — Рамиз по прозвищу Рука, Привязанная к Шее, ты на его богатые одежды не гляди, его дом даже мыши стороной обходят, а слуги оттуда бегут чаще, чем у женской половины его рода случаются месячные. Всех умеренностью, близкой к постоянной голодовке, заморил и себя совершенно не жалеет. Представь, как-то раз, по случаю праздника, приказал подать себе хлебку, сдобренную уксусом и оливковым маслом (расточительство, по его меркам, неслыханное), так слуга по ошибке взял бутылку с горьким хлопковым маслом вместо оливкового. Так этот самый Рамиз кривился, отплевывался, чертыхался, но глотал, ел, давился, короче, не пропадать же добру.

— А по окончании трапезы слугу хоть выдрал? Может, за волосы оттащали? Или там пару палочных ударов для внимательности?

— Вроде бы нет.

— Ты посмотри, добрейшей души человек, не на одном себе экономит, но и на палках, чтобы не стирались раньше времени.

— Да нет, хотя насчет истончающихся палок можно и поразмыслить. Просто слуга с голодухи и дурного обращения так и так решил от него бежать, а страх перед наказанием лишь укрепил его в этом намерении. Рамиз не успел просто.

— Вот видишь, дорогой, не всегда учитель умнее ученика, не всегда хозяин богаче слуги.

— И не всегда лысина и борода — свидетельство мудрости, — вмешался Ходжа и добавил: — Насими, твоя очередь скоро. А что, уважаемый, тут из денежных людей только скупердьяи собрались?

Уважаемый договорить не успел, как распорядитель произнес имя Насими. Его очередь. Он был восьмым, ровно семеро до него, выходи вперед, твое место тут, посередине, среди слушающих, ты и живешь для того, чтобы вот так выйти. Бессонные ночи, изгрызенный калам, кулаки, упертые в виски, закусанные до крови губы, восход и закат, вдох и выдох, до рассвета не спать — до полудня не дергаться — все это во имя этого момента. Минуты спрессовываются, часы концентрируются, все прочитанное, все написанное, все выжатое и выстраданное, что шло потоком и текло ручейком, писалось на одном дыхании и вымучивалось неделями, — ради этих минут, когда ты выйдешь и скажешь то, чего никто и никогда до тебя не говорил:

Сердце — ракушка с захлопнутым ртом,
 Образ Любимой — жемчужина в нем,
 А эгоизму там нет больше места —
 Занят Любимую весь этот дом...

Любовь, когда она сильна и беспощадна,
 Сравню я с Судным днем, грядущим неотвратно.
 Наверное, любовью создан мир,
 Но и разрушен мир любовью...
 Многократно.

И поиски тебя — моя дорога в рай,

Ты — дерево в раю, оно цветуще, статно...

Скажи такое женщине, да так скажи, чтобы она поняла, что никто и никогда ее сильнее любить не сумеет... вот так и надо женщину любить... наверное... в одном

ты, досточтимый Сейид-Али, оплошал: о крыльях женских ты и словом не обмолвился. А у всех женщин крылья наличествуют, и бескрылых среди них не бывает. Правда, как заметил Гюго, у одних это крылья ангела, у других — гусыни, и ты, Насими, вряд ли возражать станешь... но, уж как водится, дополню классика: помимо гусынь с ангелами, встречаются женщины с крыльями нетопыря, и да хранит нас Аллах от таковых и да пошлет побольше встреч с ангелокрыльями, потому как совершенно не стыит докучать Господу просьбами об убережении путника от встреч с гусынями. Проси ты Бога об этом или от просьбы воздерживайся, у Него на этот счет свои планы, и дойдут воды до самого горла...

Высказался Насими. Сидит и вперед себя смотрит, по сторонам не оглядывается, знает, что лучший, понимает: чтобы ему ровня появилась, лет пятьсот пройти должно, пара империй об пол шмякнуться да три государства поменьше смениться. И не нервничает уже, ножом ткни — кровь не пойдет, из спины ремни режь — звука не издаст, тут он на своем месте, на первом, а другому на его месте не бывать, потому что и Восток один, и Насими один, один на весь Восток, один на всю поэзию, на писанное до него и на писанное после... Расступитесь, когда он сквозь толпу идет, а если сами мимо пройдете — поклонитесь кивком головы, с достоинством, как равный равному, но тому равному, который в чем-то вас, да и всех прочих, лучше. А Имадеддину тем временем вручили кяламдан (чернильницу из чистого серебра), мешочек с дирхемами (это не ускользнуло от взгляда Ходжи: ура, мяса поедем — все не сыр на ужин, на мягком поспим — не земля голая тюфяком, не хурджин под голову), да вежливо, с поклонами, мол, сам Сейид Имадеддин Насими (да будет имя твое навечно впечатано в Книгу Жизни и Список Поэтов) победил честно, да не пресечется твой род, и да напишешь ты то, от чего мы все не раз еще закачаемся...

Не обошлось сборище поэтическое без курьеза: вышел один стихи свои читать, молодой да ранний, стихата так себе, прочитай и выбрось, однако это не мешало ему читать их громко, да с высоко поднятой головой, да выставив вперед правую ногу. Еще и рукой перед собой водил иногда, то ли чтобы с ритма не сбиться, то ли чтобы важности придать да внимание слушателей привлечь. А как закончил, так постоял немного, похвалы да аплодисментов ожидая, сразу не сел, ело его тщеславие изнутри: как же так, чтобы мои стихи да без просьбы почитать еще? И состоялся между ним и одним старым поэтом, чьего имени ни история, ни я припомнить не можем, следующий разговор. Старик ему мнение на ухо высказал — к чему человека на людях порочить, это никуда не годится. А разговор заключался в следующем:

- Салам алекум, сынок.
- Алекум салам, уважаемый.
- Скажи мне честно, как старшему, каким ремеслом ты занимался до того, как начал стихи складывать?
- Я, отец, был в рядах крайних шиитов.
- А до того, как вступил в ряды крайних?
- (Смущенно и запинаясь.) Это... осликов воровал...
- Осликов?
- Осликов, уважаемый.
- Сынок, не сочти за обиду, я на правах старшего. По-моему, и для поэзии, и для крайнего шиизма будет как нельзя лучше, если ты вернешься к своему прежнему занятию.
- К воровству?
- К осликам, дорогой, к осликам. Не обижайся на правду и послушай старого человека.

...Иногда лучший ответ старшему — молчание, раз уж, во-первых, дело говорит, а во-вторых, опытом задавить может. Вот и ослокрад (ну, или ишачий вор) счел за благо промолчать, поклониться сдержанно и раствориться среди приглашенных. С тех пор о его поэзии никто ничего не слышал, но говорят, что юноша вскоре пере-квалифицировался на коней и верблюдов, что на порядок сложнее, и всю жизнь был благодарен старому поэту за то, что тот отвратил его от литературы и калама, потому как кража верблюдов кормит намного лучше. И что только люди в поэзии находят... не спорю, некоторым иногда везет, но везение это — краткосрочно: сегодня подфартило, а завтра, глядишь, на плаху поволокут или высекут прилюдно за написанное или высказанное.. Нет, парень сделал правильный выбор... с верблюдами оно как-то надежнее...

...Поздравляли Насими, жали руку и заглядывали в глаза, хлопали по плечу, строчку, что понравилась, отмечали. Поблагодарил Насими судивших и слушавших, оценивших-прислушавшихся от души, но долго раскланиваться не стал — Ходжа аж чесался от предвкушения поесть чего-нибудь вкусного, мясного, из большой тарелки, делал страшные глаза, намекал всячески и дождался. Ждущий дождется, а проголодавшийся насытится, и друзья в прекрасном расположении духа направились в сторону, откуда приятно тянуло правильным мясом на правильной жаровне... А правильное мясо, да будет тебе известно, дорогой читатель, никогда не жарится в дорогих и помпезных местах, оно очень хитрое и готовится в ничем не примечательных подвалах, скромных забегаловках без бросающихся в глаза вывесок. Тихо, спокойно, все свои. Если беда — приходи, поделись с владельцем, он человек мудрый, всякого народа навидался, присоветует чего, а беседа душевная — она любой психотерапии стоит, да и плата небольшая — час времени да полдирхема денег. Заходи, люд усталый, тут, может быть, столы и кривоваты, зато души прямей некуда, цены низкие, зато беседы высокие, накормят за деньги, а если знают — то уговорить поверить в долг — пара пустяков.. Но едва друзья зашли в полутемное помещение с низким, закопченным потолком, только поздоровались с присутствующими и выбрали место, как вдруг...

6

Правителем Диярбекира и прилегающих земель в те времена был Осман Гарай-олук, человек простых нравов и железной хватки, недавний кочевник, никак не могущий привыкнуть к этикету дворца и сотне условностей, окружающих жизнь правителя. Его потомок, Узун-Гасан, будет дедом Исмаила Сефевии, основателя одноименной династии на иранском троне. Исмаил много чего в жизни натворит и, по совести говоря, будет больше поэтом, нежели государственным деятелем, войдя в историю литературы Востока как Исмаил Хатаи («Горемыка». Можно и как «Бедолага» перевести, но это уже злостное неуважение к царственным особам, а потому пусть Горемыкой и остается). А его предок, суровый и немногословный Осман, вершил суд над своими подданными скорый и не сказать чтобы несправедливый. Привели как-то раз к нему женщину, виновную в попытке убить своего младенца. Бросила в высохший арык, в пыль, под палящее солнце, а сама домой пошла. Это заметили работавшие неподалеку крестьяне, ребенка в тень отнесли, а мамашу, слегка ребра помяв, свели не к судье-кади, а к самому Осману. Тот аж зажмурился от предвкушения совершить благое дело и рассудил без проволочек: «Отдать на потеху солдатам сроком на три дня. Если останется в живых — отослать на рытье арыков, кормить там раз в день, пороть — по лености и провинностям, как и прочих, в работе задействованных. На все остальное — воля Аллаха, как на жизнь, так

и на смерть, как на здоровье, так и на немочь». И солдат уважил, и порок наказал, и государству пользу принес. И никакого пролития крови, это ли не милосердие? Осман, вчерашний воин, довольствовавшийся скромной пищей и жестким тюфяком, всего одной женщиной и зачастую клавший голову на обычное седло вместо мягкой подушки, мало что понимавший в бесполезном деле украшения фасадов домов и строительстве фонтанов, тем не менее уделял внимание прокладке дорог и арыков, прогонял учителей-невежд из медресе, заменяя их теми, кто смог убедить его в своих знаниях, в личной беседе проявлял неподдельный интерес к поэзии и искусству строительства. Про Насими, конечно, слышал, было дело, пораскинул умом государственным, что неплохо б и личное знакомство свести, понимал, что хоть держава саблей и строится, но не одной ею держится. Слово нужное да своевременное иногда крепче аркана бывает и тысячи воинов стоит. Позвал, уважил. Не сам, конечно, подошли люди военные, доверенные, вежливо, рук не заламывали, ног не подсекали, поздоровались, представились кто да зачем и, чтоб не пугать зря раба Божьего, предупредили, что для добра во дворец зовут, а не для упреков или заушин всяких. Мало ли... бывали случаи, что вызываемый до дворца своими ногами дойти не мог — все колени со страху друг об друга чашечками стучали, так тех под руки вели. А некоторые вообще, узнав, что их во дворец пред Османовы очи требуют, на месте от разрыва сердца оставались. Вину, наверное, чувствовали. Перед покоями правителя Насими обыскивать не стали, Осман всегда на свою саблю надеялся, и не зря: рука была — дай Боже, до седла при случае супротивника разрубала, на железный шлем внимания не обращая... станет ли такой одного да безоружного опасаться? Да если еще и сам ко дворцу позвал? Когда Осман и ему подобные бояться станут, тогда и начнется Судный день. Кого ему, кроме Бога Вышнего, бояться, если руки по локоть в крови, город с окрестностями на плечах, да и вообще не первый день в Азии...

— Проходи, Сейид Имадеддин. Садись рядом, — и рукой по подушке похлопал, но не покровительственно, а так, по-свойски.

— Благодарю, повелитель.

— Врунов у меня и без тебя хватает, хотел бы их выслушать — тебя не призвал бы. Из кабака ведь, да? И я тебе не повелитель. Просто Осман, без чинов давай. Слуг я отослал, не взыщи, если шербет самому разливать придется, — и подмигнул глазом понимающим, знаю, мол, холуйства не любишь, вот и я их не жалею, так что сам себе подливай и меня не забудь, если вдруг чаша опустеет.

— Слышал я о тебе, — замялся, неудобно как-то просто по имени. — Османом называть просишь? Хорошо, не обессудь.

— Хорошо труп врага пахнет.

— Я тебе враг?

— Нет. Но по глазам вижу, и в друзья не набиваешься.

— Не набиваюсь.

— Плохо. Хотя отдаю должное твоей смелости. Или наглости. Или это беззаботность?

— Это спокойствие, — запнувшись, но достоинства не теряя, — Осман.

— У тебя? Спокойствие? Был бы ты из спокойных, я б тебя в покои не звал — на поле бы успокоил. Или в харчевне.

— Саблей?

— Надо было — сам бы пришел. Если бы по харчевням за мухами охотился. Но мне нравится, как ты пишешь. Как у тебя сказано:

Добыча счастья, ты одна
 Дана на все мне времена,
 Весь мир отдам за запах твой,
 Но много больше стоит он.

Верить, вчера к жене пришел, эти строчки по памяти прочел, она разревелась, запустила в меня кубком и обвинила в том, что я ей такого никогда не посвящал. Из покоев выгнала, у себя ночевал, на троне свернувшись. И чего этим женщинам надо?

— Не знаю, Осман. Если хозяин всего Диярбекира и земель близлежащих на этот вопрос ответа найти не может, какой спрос с бедного поэта?

— Как так «какой спрос»? Ты написал, ты и отвечай, по твоей вине у повелителя Диярбекира и земель близлежащих шея болит по причине сна неудобного. Шучу. Хорошо написано. Если бабу смог за душу взять, то нам, мужикам, и подавно по душе прийти должно.

— Женщина тоньше. Чем баба.

— Не без этого. Но все равно смотря какая.

— Если «смотря какая» — то это баба. А если, несмотря ни на что, — это женщина.

— Сложно. Я пойму, другой поймет, а как ты это тем, кто в поле работает, разъяснишь?

— Постараться надо. И время нужно. Да подход к каждому.

— Вот ты бы этим и занялся. Оставайся здесь, мне позарез учителя нужны. Знаю, возразишь, не сидится, мол, на одном месте, и человек ты, что подневольным не будешь. Может, все же подумаешь?

— Не смогу. Стыда во мне много. И неводержан я на слово и руку.

— Я тебя в учителя зову, детей учить и взрослых, если понадобится. И к чему ты это насчет стыда-то? Что, по-твоему, на меня одни бесстыдники работать могут?

— Не на тебя, не только. Да и не в тебе дело. Совсем не в тебе.

— Ты человек вольный и никому дани не платишь? Так, что ли?

— Выходит, что так.

— А не боишься? Вот хлопну в ладоши, враз слуги с палками появятся, они веселиться да загонять станут, а ты — бегать да угол безопасный искать. Или без слуг обойдусь, сам, но тоже бегать заставлю. Что тогда?

— Ничего тогда. Только люди обязательно осудят. Скажут, позвал Осман человека в гости, а потом оскорбление с побоями нанес. А уж если твои слуги побьют — вообще позора не оберешься. Да и не хлопнешь ты в ладоши — это ни предков твоих, ни сабли недостойно.

— Болтать станут — языки вырву. Хотя могут и не поверить. Скажут — в племени Аггойунлу так с гостями обходиться не принято, то бабы болтают да всякий вздор несут. Не держи на меня зла и обиды, Сейид-Али, я не в духе сегодня, да и спал всего ничего. Прости.

— Обижаться мне не к лицу, я не женщина, да и зла держать не стану, а вот зачем позвал, если не в духе, — не понимаю.

— Дерзок ты на язык. Почтения к власти мало, вошел без поясного поклона, все прочие ниц падают, а ты только голову наклонил.

— Ниц падать и поясные поклоны бить — только на молитве пред Богом позволительно. Ты воспитай в простых и малых достоинство, отучи их валяться в ногах, сделай это постыдной привычкой. Тебе эти поклоны не нужны, ты шайтанов не тем тешишь, я же вижу, прост ты и открыт перед Богом, хоть Он и дал тебе власть

над людьми. Не хочу быть грубияном в гостях, но все мы в этом мире лишь гости. Знаю, что нагло говорю, но знаю, с кем об этом говорю, потому языку волю и дал. Не хотел бы слушать меня — так не звал бы, оставил бы в харчевне. А учить... когда-то учил, теперь — не хочу.. Не получится..

— Да. Не без нахальства ты, Насими... потому и нужен мне. Советники мои до сабли злы, рубиться умеют да в ряды строиться, сильных много — мне умные нужны. Да не просто умные, а чтобы других умных воспитать сумели: в какой руке калам держать да видеть дальше своего носа. Иди ко мне в советники, раз в учителя не хочется.

— Из меня сейчас плохой учитель, Осман. А в делах некоторых — советник хуже учителя. Не потяну.

— Потянешь. Ты много пользы людям принести сумеешь. Посмотри, ведь читать не умеют, ни к чему интереса нет, тяжело, тяжело. Меня самого грамоте только после двадцати лет научили, некому было. Да и недосуг как-то, в седле особо не попишешь. И насчет поклонов верно сказал. Не к лицу человеку перед человеком ниц падать.

— Это правда, что ты дворцовых музыкантов разогнал?

— Чистая, без обмана. Не люблю я этих трех напевников. Глаза закатят и горло дерут, да черт бы с горлом, они ж пример подают отвратительный. Мне как младший сын сказал, что хотел бы, как эти музыканты, петь да танцевать, я и озлился. Выпорол его, чтобы через спину из головы дурь выбить.

— А правда, что ты плясунов с певунами не просто прогнал, а перед тем посадил каждого на его ж инструмент?

— Правда. Барабанщику легче всего пришлось.

— Зато тому, кто в зурну дудел, не повезло...

— Другим наука будет. Ну что, Сейид-Али Имадеддин Насими, остаешься у меня? Полное довольствие, власть, полканцелярии в подчинении, отчитываться только передо мной станешь, ну, и деньги, само собой.

— Что ж, ты со мной был откровенен и милостив, позволь ответить тебе откровенностью, долг вернуть. Сложно мне будет. И голову на плаху положить не готов, если что вдруг тебе не по душе придется.

— Понимаю. Вольный ты человек и волю на дворец поменять не желаешь? Не отвечай, и так вижу. Жаль.

— Гневить тебя у меня и в мыслях не было, а отказом оскорбить — тем более. Не мое это место. Плохой из меня помощник тебе будет, никудышный.

— Знаю. «Насм» — это же ветер. А кто его на службу поставить сумеет, кроме Бога... Тогда обещай мне, что отныне только на тюрке писать станешь. Не «и на тюрке», а только на тюрке. Чтобы было кого с паскудниками дудящими сравнивать да мордой тыкая, в пример ставить: вот, мол, скоморохи, это — искусство, а вас, за бараньи напевы да рифмы ваши кособокие, — плетями из каждого города да пинками из каждой деревни гнать надо, чтобы не приучались люди ко вкусам да пошлостям площадным.

— Я не знаю. Я душе своей не хозяин. Как положит Бог, так и пишу. И к языкам то же относится. Но понимаю, к чему ты клонишь.

— Я ни к чему не клоню, Насими. Просто призвать тебя хотел. За голову. Да еще потому что вижу — ненавидеть умеешь. Не спрашивай, откуда знаю. Вижу, и все. А кто ненавидеть умеет, тому любить — пара пустяков.

— Или наоборот.

— Или наоборот. Ладно. Халата тебе не дам, обидишься еще, а вот деньги прими. Не упорствуй, они всегда пригодятся, тебе ж на одном месте долго не сидится. Когда в дорогу?

— Не знаю. Может, завтра. А может, дня два пробуду. Красивые у вас места.

— С тобой они бы еще краше стали, а так — не льсти, не люблю, даже если это просто вежливость. Ладно, ступай. Да пребудет с тобой милость Аллаха и в пути, и в минуты остановок. Я дам распоряжение казначею, тебя найдут. Удачи тебе, вольный человек. И перстень возьми. Носи, если нужным сочтешь. Если не сочтешь — тоже носи. В кармане. Простое серебро, и камень не рубин, не алмаз, так. Обычный, цвета черного. На память.

— Спасибо, Осман, — голову таки наклонил, но без раболепства, достойно. — И тебе удачи. Да помощи Аллаха в задуманном. Салам алекум.

— Алекум салам.

В те времена не считалось зазорным, если сильные мира сего рифмы слагающему деньжат подкинут или коня подарят. Поэты — люди веселые, им, может быть, деньги больше, чем кому бы то ни было, нужны... желаний и замыслов у них не меньше, чем у всех прочих, причем вместе взятых, а фантазии да ума уж точно будет поболее, чем, скажем, у главы цеха медников или главного конюшего... потому Насими и не ломался, а спокойно принял мешочек с деньгами у главного казначея, который, боясь гнева Османа, не послал с мешочком помощника, а потрудился явиться сам, с поклоном да словами уважения, мол, как же, как же, знаем, потрудитесь принять, как и было обещано. Как только казначей удалился (рассыпаясь в похвалах, с приличествующими моменту склонениями головы и прижиманиями ладоней ко лбу и сердцу), Насими немедленно мешочек развязал, обрадовался щедрости Османа и честно разделил полученные динары (золотые) с Ходжой. Потому что не годится удачу от друзей прятать — Бог разгневается, а друзья обидятся. Насими при жизни не раз повторял, что если человеком довольны друзья, то и Аллах им доволен, ведь хорошие друзья — украшение мужчины, а других украшений ему не надо, разве что посох... Так Бог через людей в людях веру в Себя и в человека укрепляет.

Насими и Ходжа в прекрасном расположении духа отужинали пловом, после чего Насими погрузился в блаженную дрему, а Ходжа все цыкал зубом, пытаясь вызвать его на разговор: что и как там было и как тебе, дорогой друг, дай тебе Боже здоровья, такой хороший мешочек достался. Насими спервоначала клевал носом, а потом разговорился. Покачал Ходжа головой, зря, мол, отказался — с царского стола до самой могилы сыт будешь, да и детям можно на сытость оставить, но потом усмехнулся, хлопнул Насими по плечу, то ли в знак одобрения, то ли чтобы сон с него согнать, и насчет женщин поинтересовался (полный живот всегда бабу зовет, не нами заведено, не нам и отменять), как, мол, тут с женщинами, может, знает чего да где:

— Интересно, а каковы тутошние женщины?

— Не знаю, но из разговоров в мейхане я понял, что добродетельны, чернявы, невелики ростом, а после двадцати лет брака отличаются редкой сварливостью.

— Коротконогие женщины предпочтительнее — они более страстные.

— Ты потому так рассуждаешь, что у тебя длинноногих не было.

— Слушай, Насими, давай поменяемся, а? Я буду стихи слагать, а ты над окружающими издеваться. У тебя получится.

— Ты в плену предрассудков, Ходжа. Ты веришь, что коротконогие женщины страстнее длинноногих потому, что путь крови по телу короче, ты веришь, что ребенок, зачатый в положении «сзади», обязательно выйдет из чрева матери ногами вперед, что осложнит работу повитухи, ты совершенно серьезно полагаешь, что если беременная женщина будет видеть только красивых людей, младенец родится

красивым, ты уверен, что женщина может навсегда привязать к себе мужчину, подмешав в его питье своих месячных кровей.

— Заметь, все мои предрассудки связаны с женщинами.

— И младенцами тоже. Странно, правда? Седина в бороде, полсвета исходил, с мудрецами знаешься, а все равно во всякую чушь веришь.

— Ну, далеко мне до просвещенных, лучше насмешником останусь. И ты присоединяйся, на случай, если с поэзией не завяжется.

— Завяжется. Все обязательно завяжется.

— Да поможет нам в том Бог. Главное, чтобы не на шее завязывалось, — выпутаться сложно.

Толстый Абу Рагим (тот самый, жадина и скупердяй), занимавший должность, если выразаться языком современным, заместителя главы муниципалитета, был человеком не только прижимистым, но и хитрым. Иначе на таком месте не удержаться — всех, в деле задействованных, кормить-поить нужно. С умом подойдя, и сам всю жизнь сыт будешь, и детишкам кой-чего оставишь. А если прыток, то и внуки по гроб жизни благодарно облизываться станут. Прослышал Абу Рагим про то, что Насими был зван ко двору Османа. Сам толком в поэзии ни пса не понимая, носом, однако, почуял, в какую сторону ветер дует, и раз уж главный Насими уважил, то и ему, Абу Рагиму, Имадеддину респект выказать не повредит. Сам не пришел — слугу с мешочком послал. Пришел слуга, поклонился, поздоровался вежливо, объяснил кто, зачем да от кого и протянул Насими мешочек. Насими на приветствие ответил и в мешочек сразу заглянул. Оказалось серебро. Дирхемы. Да не просто дирхемы, а постыдно, непристойно малое количество. Меньше десятка. Имадеддин аж скривился, чуть было на пол не сплюнул, но сильнее обиды поднялась в нем волна хитрости и язвительности: хитрость — чтобы собеседника на нужные слова вывести, а язвительность — чтобы ответить соответственно моменту, да так, чтобы потомки, смеясь, повторяли:

— Спасибо доброму человеку. Я оценил. По достоинству. Дарующего.

— Мой господин просит тебя, поэта рода благородного, принять этот скромный подарок в знак уважения и признательности.

— Да, я оценил. Скромность подношения в особенности. Его ведь зовут Абу Рагим, не так ли? И этот уважаемый человек известен не только тем, что занимает пост, сообразный его редким душевным качествам, но и тем, что весьма и весьма экономен.

— Мой господин не хуже других. И если вам, человеку ученому, пришлось не по душе его подношение, в том воля ваша, можете раздать его нуждающимся или выбросить в сточную канаву.

— Ответ человека гордого и достойного. Ты хорошо служишь Абу Рагиму, хоть и скуп он безмерно. Скажи мне, сколько здесь стоит погребальный саван?

— Три-четыре дирхема, уважаемый.

— Пусть будет пять дирхемов, чтоб из лучшей материи, соответственно положению покойного. Так вот, верни эти деньги хозяину, а на словах передай, что он даже на своей смерти целых три дирхема заработать сможет. А если тебе за такую весть порка грозит или еще какая неприятность — так оставь этот мешочек себе, но расскажи о случившемся людям на улице. Или в кофейне вечером.

— Я последую вашему совету, уважаемый Имадеддин. Не рискну я с такими словами к Абу Рагиму обращаться.

— Ну, тогда пусть будут тебе эти деньги халалом. Иди с Богом.

— Спасибо. Вы щедрей моего хозяина, да воздаст вам Аллах по сердцу вашему.

Слуга удалился, Насими с минуту посидел молча, потом зябко передернул плечами, мотнул головой, словно мысль дурную или ненужную отгоняя, и обратился к другу:

— Мне в мечеть надо, Ходжа. Посидеть, помолиться, подумать перед дорогой. Ты со мной?

— С тобой. Если молиться не стану, так у стенки посижу, о вечном подумаю.

— Да, конечно. Но сначала к цирюльнику, бороду подровнять да голову побрить, потом в хамам — очиститься перед молитвой.

— Отменно. Помоемся, острижемся, помолимся. Перед дорогой полагается быть чистым.

— Вообще полагается, не только перед дорогой. Ладно, спим, завтра вставать рано.

— Да, — уже засыпая, — еще и на базар. За сушеными фруктами.

— От которых человеческому сердцу большая польза бывает. Но сначала очиститься...

7

Баня — дело серьезное, и относиться к ней надо соответственно. Как к ритуалу. Сытно не есть, много жидкости не потреблять, а вот после бани да массажа самое лучшее дело — живот набить, да чем-нибудь посытнее. Сначала помыться, потом лечь на горячий мрамор, глаза закрыть и, прогреваясь, нежиться. А как разомлешь, станет тебя банщик специальной рукавицей тереть. Лучшие рукавицы из конского волоса плетутся — он жесткостью своей аж верхний слой кожи снимает, грязь пластами лезет, а ты кряхтишь, жмуришься да с одного бока на другой переворачиваешься. Потом банщик, если он свое дело знает, тебя душистым мылом потрет, омоет в двух водах, маслом умастит и массаж делать начнет, да такой массаж, что каждую косточку, каждую жилочку пальцами продавит-прощупает, суставы растянет, мышцы разомнет, а в завершение заберется тебе на спину ногами, всем весом разомнет, после чего в полудреме лежать оставит. Теперь и поесть можно, раз уж и телом чист, и духом спокоен, чего-нибудь сытного, чтобы до следующего утра о еде не думать: супу густого, чтоб аж жир не продуть, или чего мясного, чтоб кусок мяса в палец толщиной был, а потом кофе попросить, в маленьких чашечках, чтобы сытость вниз желудка продавить и дремоту прогнать... и еще чем баня хороша — что в ней, как в храме Божьем или в дороге, все равны: нет там больших и малых, сильных и слабых, все равно — что венценосная особа, что последний погонщик... Друзья, сытно перекусив просыпным пловом с отлично прожаренным мясом, провели пару часов в атмосфере расслабляющего и дремотного равенства, после чего Насими напомнил Ходже, что перед дорогой собирался помолиться, а такое дело откладывать не следует. Пошли, нечего засиживаться, глаз закрывать не смей, в случае чего выспаться и в дороге можно. До Коньи путь неблизкий, но порой случается, что путь до Храма еще дольше, чем до другого города, где бы он ни находился. Пошли к мечети, Ходжа, я нынче наглый — выиграл да в бане омылся, мне ли перед смертными шапку ломать да поклоны бить? Обойдутся. Да и прав он, в конце концов, ну кому, как не ему, ходить с гордо поднятой головой, и кому, как не ему, руки в бока упирать и через толпу, смело толкаясь, протискиваться, и кому, как не ему, ступать уверенно, но без высокомерия? Высокомерно нельзя, на базарной площади и побить могут, люди там простые — уверенности, поднятой головы да рук в бока и у самих хватает, потому и высокомерия не любят. Азия... только на поэтов и хватает запала, и то при случае, если где в одиночку поймают. Короче, вы-

рядился Насими: и халат, серебром расшитый, бирюзой отликает, и чалма новая, цвета пенек молочных, и обувка знатная, всем взял — и ростом, и голосом, в бане и голову ему обрили, и бороду подровняли. А все равно глаза выдают: горят глазницы, то ли любовью к единственной, то ли к Богу Всевышнему. Щеки впали, скулы вылезли. Что, поэт, без нее не пишется, и все халаты с кошельками ненужными стали? Не собака, не привык в прыжке кости, что хозяин швыряет, ловить — гордый, обижаешься... Ну вот, раз вякал не по чину, так не гляди на сильных мира сего, как кот на собаку, потому что кот на собаку такими глазами, только сидя на заборе, глядит... оттуда способней и, опять же, безопаснее... и что с того, что на тебя из-за какой-то строчки ополчиться могут? Повода давать не надо, и со строчками осторожней... вот закричит осенний ветер, забьется пойманной птицей, застучит в оконный косяк незванным гостем, зальет стекло злыми слезами отвергнутой женщины, а ты рассмеешься, улыбнешься неизвестно откуда налетевшей мысли — осень, она везде думать и грустить заставляет, что на Востоке, что в Краях Закатных.. ты не тушуйся, зубов не сжимай, не ерзай, не дергайся, а как дойдет грусть-тоска до горла — сходи в храм Божий, мысли очисти... оно зачтется, все засчитывается, ничего без следа не проходит и в бездне не исчезает, не для того мир был создан, чтоб в нем хоть что-то без расчета прошло-миновало... сходи, на душе полегчает... клянусь Аллахом...

Подошел к мечети и, хоть пребывал в состоянии ритуальной чистоты после хамама, все равно совершил полагающееся омовение, после чего долго-долго молился, сидя лицом к кибле, а о чем — только гадать можно. Может, просил Бога сделать его, Насими, лучше, не дать высокомерия и самодовольства пред лицом Его, может, просил вдохновения и обещал, получив оное, не гордиться и не зарываться, может, долголетия просил, а может, помощи в делах задуманных, о цене не задумываясь, может, удачи в дороге, а может быть, спокойствия и избавления от желания и необходимости странствовать, может, душу отмаливал, а может, тело, может, за себя, а может, за других, может, денег, а может, любви, может, сил в ненависти, а может, отрешения от сомнений. Душа человеческая глубже пропасти, но Бог милосердием своим любую бездну покроет и через любую пропасть перенесет... Пока Насими молился, Ходжа тихо сидел в углу, изразцы и роспись на куполе разглядывая. Тоже размышлял, хотя особо религиозным и не был. Так, от случая к случаю или когда неприятность какая случится, к Богу взывал, по мере надобности. Но в храм порой заходил, то ли думалось ему там хорошо, то ли по другой какой причине. Насими молился несколько часов кряду — наболело, видать; счет потерял земным поклонам. Наконец, намолившись, тихонько поднялся и вышел из мечети. Ходжа поспешил за другом, но, почувствовав, что тому надо побыть наедине со своими мыслями, ни расспрашивать не стал, ни беспокоить, лишь тихо, вполголоса пожелал: «Да примет Всевышний Аллах твои молитвы». А поэт пусть помолчит, поразмыслит, им иногда нужно, чтобы их оставили в покое, хоть ненадолго.

Перед самым выходом из города решил Насими, что не годится удачу свою от людей подальше прятать, раз уж от Бога ее все равно не спрячешь, потому и прошелся по десятку знакомых, выясняя, кто в славном Диярбекире самый честный и порядочный молла, что и гроша медного не уворует. Трудов, конечно, стоило, такого ж не сразу найдешь, но стучащему отворяют, и люди единодушно отправили Насими с Ходжой к старому молле, что жил в квартале Дилдже. Старик выслушал просьбу Насими раздать деньги нуждающимся, спокойно принял мешочек с монетами (часть денег друзья себе оставили, дорога все-таки, жрать хочется, да и мало ли что в пути понадобится может) и просто спросил: а зовут-то вас как, мне знать

надо, за кого молиться и чьи имена людям сказать, чтобы тоже Бога просили. Насими не ответил и быстро, чуть ли не бегом вышел из мечети, а Ходжа просто сказал: «Отец, пусть за странников молятся — так надежнее будет...»

Придя на базарную площадь, принялись искать караван, что пойдет в направлении Коньи или напрямиком в Конью, что еще лучше, — с людьми оно всегда веселее. На самом базаре задерживаться не стали (сухих фруктов так и не прикупили, здраво рассудив, что караван, идущий из Диярбекира, не может их с собой не захватить, а раз караван захватит, то и в пути наестся можно, и при надобности у купцов прикупить), расспросили людей, и словоохотливый медник указал им на высокого сутулого караванщика, направлявшегося с группой торговцев в Конью. Переговоры не заняли много времени: стихи Насими уже распевало полгорода, а Ходжа парой прибауток сумел расположить к себе как купцов, так и главу каравана. Помогающий путнику заслужит благоволение и милость Аллаха, не вопрос, правоверные, конечно, довезем и денег не возьмем, присоединяйтесь, мы веселым и словоохотливым людям всегда рады, ведь стихи и смех жизнь продлевают, а дорогу укорачивают. Нам ни возле костра, ни на верблюде места не жалко, а кому верблюжья поступь не душе — тот всегда может на ослика пересесть, тоже надежно, отставшего дожидаются, медленного поторапливают, а упавшего поднимают. Ну, с Богом, торговое дело медлительности не любит, а потому — в путь, не мешкая...

Караваны редко ходят в темное время суток, с наступлением сумерек опытные караванщики начинают искать место, подходящее для ночной стоянки. То ли в темноте с пути сбиться боятся, то ли разбойников или какой другой нечисти опасаются, но, скорее всего, коням, ослам и верблюдам просто надо отдохнуть. Да и людям не мешало бы, шуточное ли дело, день пути, с самого рассвета, да под солнцем, а то и дождем или ветром. Снег в тех краях тоже не редкость, но сейчас было начало лета. На стоянке караванной останутся, протянут шерстяную нить по периметру, чтобы змеи да скорпионы с фалангами беседе да сну не мешали, разожгут костер и усядутся в кружок. Поужинать, а после день прошедший обсудить да завтрашний обдумать. Огонь, он вообще к неспешным разговорам располагает, в особенности на сытый желудок. Не спалось душевной ночью людям странствующим и народу торговому, все сидели у огня, беседовали да комаров отгоняли. Смотрели на огонь, слушали и вслушивались, внимали и вдумывались, делились историями, притчами, былями и небылицами. Вряд ли кто в этом деле мог сравниться с Ходжой, вот и рассказал он быль или вымысел — судите сами.

— Сказывали мне об одном шахе, что правил где-то далеко-далеко на Востоке. Давно это было, так давно, что теперь и не вспомнишь. Владыка тот был жесток, своенравен и вскорости, за отсутствием сопротивления, заимел скверную привычку, которая, как он надеялся, приведет ко вселенской славе, а именно — рубить голову каждому, кто осмелится вызвать его малейшее недовольство или даже просто попадет на дороге. Просчитать, на что именно разгневется владыка, — дело сложное, а потому жители благоразумно старались не попадаться ему на глаза, и когда его величество выходило на прогулку, — город пустел. Торговцы бросали лавки, гончары — круги, кузнецы — кузни, да что там люд торговый и ремесленный: самые обездоленные, носильщики, что за медную монетку весь день бегать и крутиться согласны, и те, крюки побросав, бежали быстрее нищих, которым вообще терять было нечего. Привычка шаха первоначально вызвала в стране массу недовольных, но они быстро замолчали, потому что голов у них вскорости не стало, а те, кто головы сохранил, были тем весьма довольны и за шаха разве что Бога не молили (нет, иногда, конечно, мелькала подленькая и эгоистичная мысль, что головы подданных сидят у них на плечах вовсе не для удовольствия его величества,

а для их, подданных, персонального пользования, но благочестивые и законопослушные жители гнали эту мысль от себя как преступную и неуважительную). Но есть Аллах Всевышний, который выше всех величеств, бывших, нынешних и будущих, вместе взятых, а потому все когда-нибудь кончается, даже самые страшные истории, вот и эта закончилась, когда один из многочисленных зятьев его величества не отрубил ему, помазаннику, голову. Чтобы самому величеством стать. Получилось. А чем развлекается нынешний венценосец, я не знаю, а если бы даже и знал — ни за что не сказал, потому что нынешний все еще царствует, а мне, знаете ли, очень нравится, как моя голова на плечах сидит. Как-то ловко у нее получается, уважаемые, сразу видно, что вещь на своем месте находится.

Ходжа закончил, но слушатели поостереглись смеяться громко и вслух — кто ухмылку в бороде прятал, а кто одними уголками губ улыбался. Боязно все-таки, хоть от городов далеко, а все одно — против власти. Долго, правда, смех сдерживать не получилось, черт с ними, с властями, они в городах да селах, а тут, в степи, одна власть — Божья, а потому хвост им шайтанов в самую глотку, только тут они нам смеяться не запрещали. После Насреддиновой истории разговор много быстрее пошел, да и веселее как-то, никто уже ни в выражениях не стеснялся, ни смеха не скрывал. В степи на день пути вокруг — все свои. Наверное. Потому и рассказано было многое, погонщик, например, поведал что-то о женщинах, торговец шелком — о том, как хитрый ученик медресе проучил купца, обвешивавшего покупателей, другой купец, который вез груз сушеных фруктов, прошелся насчет неправедных судей и невежественных мулл, не разумеющих, о чем в мечети говорят, а когда подошла очередь Насими, он поведал собравшимся следующее:

— Говорят, жил в одном селении человек, изнасиловавший собственную мать, совершил, нелюдь, мерзость неслыханную. Сначала отец его сам убить хотел за грех и бесчестье — брюхо вспороть или задушить своими руками, но потом передумал, связал накрепко и отвел нечестивца к кадию, чтобы все по закону было. Кадий внимательно выслушал историю, сделал испуганные глаза и сказал старику, чтобы тот оставил сына у него, а он тем временем придумает наказание, соответствующее преступлению: «Я в кадиях не первый год и многим государям служил, но такого негодяя встречаю впервые, что мне с ним делать — ума не приложу. Ты ступай домой, старик, а я тем временем со знающими людьми посоветуюсь, письмо кое-кому напишу, потому как в моих книгах и записях насчет такого случая ни слова не сказано», — говоря это, кадий топал ногой, гневно вращал глазами, взывал к Господу и грозно топорщил усы. Старик, видя такой поворот дела, окончательно уверился в том, что сына-мерзавца постигнет заслуженное и мучительное наказание, и с почти спокойной душой отправился домой (хотя какое тут спокойствие, упаси Аллах, так, к слову пришлось). И каково же было его удивление и негодование, когда он узнал, что его сына... назначили помощником кадия с перспективой занять место старого судьи после его смерти. Старик чуть с ума было не сошел от такой новости, считай, все сбережения на взятки спустил и не одну пару чарыков истрепал, пока до самого главы вилайета, области то есть, не добрался. Добился-таки, дошел, упрямец, да так и вошел в залу, в рваной обуви, а войдя, прямо с порога, этикетом пренебрегая, спросил у большого-пребольшого начальника, в чем, собственно, дело, что тут происходит и не сошел ли кто, чего доброго, с ума в канцелярии, из тех, кто приказы пишет. А может быть, чиновники просто перепутали, и это тезка его проклятого сына стал заместителем кадия, ведь не может такого быть, чтобы пресветлый шах, тень Господа на земле, такого нечестивца к себе прибил и над подданными своими власть дал. И усмехнулся начальник, оглядел старика с ног до головы и, скидку на простоватость да серость делая, объяснил по-

литику государственную: не гневи сильных, не рассуждай опрометчиво, раз назначено тебе судьбой землю ковырять — не забивай голову делами вышними. Но из уважения к сединам твоим — объясню. Если твой сын со своей матерью такое сотворил, то гляди, чего он с другими матерями сделает. А такие люди при любом шахе и всяком государстве — на вес золота, всегда понадобятся, потому как редкость большая. Все, старик, иди с Богом отсюда, я тебе свое слово сказал, а будешь упорствовать — так у нас для мелких надобностей молодцов вроде твоего сына — с полдворца, и если сам спокойно не уйдешь — кликну — вынесут и с сединами не посчитаются. Иди, старик, не мешай нам делами государственными заниматься.

На несколько дней пути вокруг были только свои, но никто, опасаясь последствий, так и не рискнул рассмеяться.. разве что один Ходжа в бороду ухмыльнулся. Молчание, что несколько затянулось, нарушил глава каравана, предложив лечь спать, сетуя на то, что путь еще неблизкий, а потому проснуться следует пораньше. Никто ему возражать не стал, договорились, что погонщики будут сменять друг друга возле костра до самого рассвета, чтобы не погас, да и вообще осмотрительность в пути — дело первейшее.. спокойной вам ночи, правоверные... которые молящиеся — о молитве не забывают.

Спалось Имадеддину в ту ночь беспокойно, наверное, дорога сказала или напряжение нервное. Снилось ему в ту ночь многое: кто-то шептал стихи на древних, совершенно забытых языках, чье звучание напоминало шорох сухой травы под шагами женщины, снился ветер, несущий всежигающий зной и вдохновение, что иссушает душу, снились ковыльные степи, где человеку некуда и незачем спешить, снилась незатейливая мелодия, слова на которую ложились сами собой и как-то сразу складывались в рифму. Много чего в ту ночь снилось: женщины, вынимающие человеческую печень для гадания и отвратительной тризны, видел сперва незасеянное, а затем несжатое поле, бесплодные сады и неубранный виноград, потом увидел самого себя, как бы со стороны, лежащего на земле в неестественной позе, с бисеринками пота, выступившего на лбу, видел людей, сидящих в зеркалах и хватающих каждого, кто подойдет к ним на расстояние вытянутой руки, снились люди, что копали могилу, а на вопрос: «Для кого стараетесь, правоверные?» — ответили: «Для тебя, Насими, для тебя стараемся, мало осталось, сейчас закончим, а ты ложись, не мешкая...» Жутковатый сон получился, другого враз подбросило бы, а Насими проснулся не сразу, поворочался немного, дурные сны отгоняя. Такого сразу не сжуешь, не напугаешь, а если даже и напугаешь — стихами вывернется, вот и получится, что не зря боялся, раз стихи получились... любой сон, любой кошмар и любая боль того стоят... Говорят, что эти стихи он написал по дороге из Диярбекира в Конью.. и очень может быть, что сразу после пробуждения...

Пред сладостью твоих невиданных красот
 Несладким сахар стал, горчит сладчайший мед.
 Красивую, тебя с богоподобным ликом
 Над племенем людей Аллах да вознесет.
 Слова твои — вино или вода живая,
 Мне б должно их воспеть, да слово
 Не идет...

...Стоял парень возле девушки, держал ее за руку, шептал ей слова нежные, та-ять и млеть заставляющие, и спросила она у него, станет ли он обижать ее, на что тот ответил: «Конечно же, нет, милая», а про себя подумал: «Это уж как водится», после чего сам спросил у нее, станет ли она с ним стервозничать, на что та тихо от-

ветила: «Конечно же, нет», а сама подумала: «Уж это как получится». Знал Насими, о чем пишет да что описывает, с кого рисует да что срисовывает, знал и чувствовал, а прочувствовав да через себя пропустив, делился честно, ни от кого ничего, ни единой мысли, ни единого слова не утаивая. И было то слово всем понятное, но не всем доступное, каждому слышное, но не всем слышимое... а что в чайхане да на площадях читается, то и во дворце рано или поздно гулом отзовется... но лучше бы не отзывалось... целее был бы... но как бы Насими ни рассуждал — в одном он был прав, когда о любви писал: ради нее мы совершаем массу глупостей или наоборот... то, что мы ничего ради нее не делаем, и есть величайшая глупость...

Тот праведнее всех, средь смертных всех умнее,
Кто Истину найти в своей любви хотел,
Но в рай не попадет и не поймет Корана
Тот, кто в огне любви ни разу не горел...
Один пошел в кабак, другой сидел в мечети,
Как знать, кто более из них
Аллаху порадел...

Получилось, получилось же, клянусь Аллахом, да так получилось, что людям показать не стыдно... ни на Востоке, ни в целом мире.. краснеть не придется, а потому — пиши дальше, что бы там тебе по ночам ни снилось... ты и темноту видел, и к свету привычен... Это, наверное, вообще не стихи, вовсе не сочетания рифмованных, пусть даже выстраданных слов, не ладные звуки, сложенные вместе, не гармония строчек и не самолюбование, меж ними брызжущее, это сама Любовь, что из груди наружу вырвалась... была только твоей, а многих содрогнуться и пожить заставила, потому как всех слушавших словно свинцом расплавленным обрызгала...

8

Караван вошел в Конью через Восточные ворота. А сама Конья на земле без малого четыре тысячи лет стоит, еще при хеттах Куванной звалась и в «Деяниях апостолов» упоминается (тогда она называлась Икониум). Так что не провинция это вовсе и не дыра заштатная. Не стал бы сам Омар Хайям в захолустье жить, и Джелаледдин Руми в зачуханном селении жизнь бы не закончил. И еще: именно в Конье находится могила Платона. Сами понимаете, нет никаких причин полагать, что этот город не простоит до самого конца света. Друзья поблагодарили главу каравана и добрых спутников и решили сначала город осмотреть, а потом уж о ночлеге подумать. Погуляли по широким (не в пример прочим восточным городам) улицам, почтили вниманием цеха мастеров золотых дел (где перестук молоточков навел Насими на пару мыслей насчет ритма стихосложения), благо деньги были: не купим, но и нищими себя, монетами позвякивая, перед мастерами не покажем. Подивились искусству людей умелых, языками поцокали, попили холодной воды со льдом, жаркого дня ради, много исходили, аж ноги стерлись, и не диво — столько мест интересных обойти. Памятуя о гостеприимстве, о ночлеге не задумывались: куда постучимся — там и примут. До заката ходили, аж животы подвело, вот и ткнулись в первую попавшуюся дверь. Постучали, деликатно, вежливо, впусти, мол. Дверь не открылась, но хозяин дома из-за так и не распахнувшихся ворот громко, по-хозяйски, спросил, кто и чего надобно. Ходжа аж взвился, сказала долгая дорога:

— Знаешь, уважаемый, в наших краях принято гостя в дом приглашать.

— А в наших краях принято, чтобы гость для начала представился кто, куда да зачем. А если кому обычай здешний не по душе — так на базарной площади караван-сарай стоит.

— Не применим воспользоваться твоим советом, о гостеприимнейший.

— С Богом, правоверные.

Наши герои, демонстрируя высшую степень неудовольствия и презрения, аж на-земь сплюнули от возмущения (не по-людски как-то, путники же, крова предоставить не хочешь, так хоть воспитание покажи, раствори ворота, сошлись на больных домочадцев, жена, мол, заболела или детишки, извинись и дорогу рукой покажи, а так.. нехорошо... очень нехорошо... фу, тьфу, а не хозяин дома). Но в пути, даже на Востоке, всякое случается, смотря на кого нарвешься, кто накормит, а кто отмажется, который пригласит, а который к ближайшей гостинице дорогу укажет, кто стол раскинет и последним поделится, а кто... ну, да Бог им судья, и поделившемся, и кусок хлеба, при наличии двух или трех, зажавшему, а Насими с Ходжой, хочешь не хочешь, пошли постоялый двор искать. Головами, покачали с укоризной, возмутились про себя, но, виду не подав, без ругани дальше пошли... спрос до Багдада доведет, а не то что до Киева, вот и набрали на странноприимный дом. Постель чистая, еда сытная, на стенах следов клопов давленных — всего ничего, чего ж еще путник пожелать может? Правильно, с дороги еды да бабы очень хочется...

— Не знаю, что ты делать собираешься, а у меня больше месяца женщины не было. Э, Имадеддин, ты со мной или не слышишь, о своем думаешь и слышать не хочешь?

— Еще бы, шайтан всегда найдет для бездельника занятие. Куда идти, уже знаешь?

— Да это дело недолгое, пройду пару кварталов да у первого встречного и выясню.

— А он окажется истово верующим, добропорядочным семьянином, врагом разврата и засветит тебе под глаз за то, что ты осмелился предположить, что в его квартале блудницы проживают. А так как разговор будет происходить не на твоей улице (иначе с чего бы ты у людей насчет блудниц расспрашивал), сразу понабегут его друзья и знакомые, тоже истово верующие, и разукрасят тебя во славу Аллаха по грехам твоим.

— Верно говорят: привяжи двух коней рядом — они если одного цвета не станут, то повадками точно отличаться перестанут.

— Дело за малым — осталось тебе в стихотворцы податься. Чтобы пословицу оправдать.

— Ей, пословице, и без меня оправданий да доказательств хватает. Ну что, пошли?

— Нет, Ходжа. Я к проституткам не люблю ходить.

Насими отказался, а Ходжа куда-то ушел и вернулся в караван-сарай только под утро... а как именно, где да с которой из дев он время провел — сами дорисовывайте, а я вам для этого целый набор аксессуаров оставляю, как то: кальян, резные витражи, мягчайшие подушки, что сплюснуты сверху, пушистый ковер на полу, арабская вязь на стенах, восточная утонченность, аромат благовоний, дым сандалового дерева, нарды, шербет, рахат-лукум, розовая вода для омощений, звон монисто, высушенные травы от сглаза, мужского бессилия и женской холодности, чеканные вазы и кувшины с изящно изогнутым носиком, кинжалы дамасской стали на стенах... Может, Насими к девкам не пошел просто потому, что все о той, которой с ним не было, думал... такое случается... напасть, сглаз, морок, приворот...

...Насреддин вернулся только под утро, улегся на тахту с видом довольного кота, разве что мурлыкать не стал, кряхтел, ворочался с боку на бок, шмыгал носом и потягивался, пока производимый им шум не разбудил Имадеддина:

— Ну что ты за человек такой беспокойный, дай поспать, не шуми, а?

— Да я не шумлю, так, потягиваюсь.

— А потише кряхтеть и ворочаться не пробовал?

— Здорово ты, Насими, ухватками моего покойного двоюродного дядю напоминаешь. Сварливостью и занудством в особенности.

— Я уверен, что твой двоюродный дядя, да смилуется над ним Аллах в День воскресения, был достойным человеком.

— Еще бы, чего-чего, а достоинства ему было не занимать. У него в общей сложности восемь жен было. Ну, не одновременно, понятно, кто ж столько сплетен да криков выдержит. С которой из жен развелся, а которых так пережил. Вообще, человек был очень солидный. Я это к тому, что ты характером вроде него, даром что тот ни читать, ни писать не умел.

— Зато ты весь в него, на правах родственника. Грамотностью в смысле.

— Это ты зря, я, хоть, как некоторые, стихов не слагаю, но и читать и писать умею.

— Да знаю, знаю, это я так, шутя огрызаюсь. Сам виноват, первый начал.

— Так я ж еще не закончил. Про дядю я уже высказался, а теперь слушай, что мне девушки рассказали.

— Воображаю.

— Так вот, разговорился я о поэзии с девушкой.

— Лучше ни места, ни собеседницы не нашел, самое оно, прибежище изящного искусства.

— Не скажи, они не просто... и музыкой слух усладить способны, и беседой гостя развлечь.

— И мнение о стихах высказать, я так понимаю?

— Верно понимаешь, все именно так и было.

— Живенько представляю. Хоть халат запахнул, об искусстве разговаривая? И до чего договорились? Может, какие новые методы стихосложения или рифмы узнал? Поделись, а не то я уже сам туда сходить порываюсь. Интересно очень...

— Хочешь — сходи, а не хочешь — так сиди и слушай, те двери для всех открыты, с того и прибыль имеют.

— Имеют, имеют, кто бы сомневался. Так что там дальше было?

— Так вот. Повела мне девушка, что тут, в Конье, каждый год состязание поэтов проводится. Чуть ли не из самого Герата пишущие в Конью сходятся, а в этом году быть состязанию через два дня. Попробуешь силы?

— Новое не написано, а со старым выходить как-то не хочется.

— Ну, у тебя же целых два дня есть.

— Да, что верно, то верно. Целых два дня. Ладно, я спать хочу, не иначе как до полудня меня не буди.

— А потом?

— Потом растолкай. Вежливо, без подзатыльников. Проснусь — подумаю. Два дня, два дня, — бормочет, засыпая.

Вроде уже в сон провалился, но вдруг перехватило дыхание и защемило в груди, да так защемило, что Насими был вынужден рукой о стену опереться, чтоб не провалиться куда или чтоб просто легче стало, отпустило. Закусил губу, сжал другую руку в кулак, аж костяшки побелели, но не застонал, стерпел, только испарина на лбу мелкими бусинками выступила. Болело, сильно болело, словно какой-то неве-

домый, маленький, но очень злобный зверь начал грызть его изнутри, проедавая себе путь наружу. Зверь не щадил ни ребер, ни сердца, грыз на совесть, и казалось, вот-вот уже выберется наружу, разорвав грудную клетку в клочки. Странное было место, страшное было место, завораживающее, манящее, отталкивающее, мурашкой крытое, ароматом напитанное, не зря Азербайджаном зовут, Азербайджан, А-з-е-р-б-а-й-д-ж-а-н, «а» на «о» и «е» на «о», а оттуда и до «а» с «и» недалече, так буква прыгает, так она переходит, так буква меняется и так перескакивает, буква меняется и буква меняет, буква говорит, шепчет, а прошептав, определяет: Азербайджан — Озорбийжон, сам же тот «Озор-бийджон» в переводе с фарси — «гиблое место» означает, и всякий, на той земле воды испивший или преломивший хлеба, Всевышним благословенного, может и проклятым стать. Всякого же вернувшегося оттуда — сторонись, сын человеческий, в Бога верующий... дыханием отравит, взглядом опойт, растлит, наизнанку вывернет ножами азиатскими, глазами, до европейской сытости жадными, запахом розы, той розы, что, невзирая ни на что, как в цветнике, так и возле канавы произрасти способна. «О-зор-бий-жон», — пробормотал и затих... снова заснул... сейчас он придет в себя, вот выгнется в последний раз и на полчаса в небытие провалится. А как проснется, попьет воды, утрется и напишет:

Мир чуден, но слепым откуда это знать?
 Мир красочен, но им откуда это знать?
 Покуда ты живешь, считай, что мир прекрасен,
 Поскольку неживым откуда это знать?

День Страшного суда и вправду будет страшен,
 Мы темны, нам, таким, откуда это знать,
 У грешника спроси, страшны ли муки ада.
 Блаженным и святым откуда это знать.

Ходже написанное понравилось, а Насими долго бился со второй строчкой, пытаясь то ли изменить, то ли улучшить. Ходжа и так ему втолковывал, и эдак, мол, успокойся, хорошо написано, что калам грызешь, к новому переходи. Уговорил-таки. Ничего Насими менять не стал, прислушался к другу:

От «я» откажись, преврати свое сердце в руину,
 Тогда и сокровища мира в восторге узри,
 Глазами души посмотри на источник Вселенной —
 Там нет ничего, кроме Бога,
 Его краем глаза узри.

Коль сможешь лик Божий узреть,
 Отыщи тождество ты,
 Божественной сути святые истоки узри.

Многие пробовали, но не у всех получалось, многие старались, да не хватило умения, которые шли, да дойти было дано не каждому, кто исписался, а кто по дороге отстал. Дорога ведь эта не рафинадом облицована, не марципанами выложена, на ней все больше камни да колючки, босиком не пройдешь, вприпрыжку не минувешь... и шел Насими по дороге той, как ходилось (в чалме цвета молока с сахарным песком), и писал Насими, как писалось. Кому не нравилось — свободен был уши заткнуть или отвернуться, до поры до времени... свободой пользовался...

Время шло больно веселое, весь Восток грозил огнем заняться, снимались с места целые народы, рвались в куски границы, валились династии, весело было, сегодня камни таскал или в лавке торговал, а завтра тебя волной во дворец закинет, а спадет волна — пожалуй на плаху, с неделю назад сотней командовал, а теперь целая армия в подчинении, но если не заплатить ей вовремя — тебя же первым в куски рвать станут... веселое время, новые страны, новые принципы.

...Окровавленной занозой сидел страх в сердцах богатых и знатных с тех самых пор, как погулял по малоазиатской земле от тогда еще Константинополя чуть ли не до самого Багдада шейх Бедреддин Симави с ребятами, гулял с размахом, иначе страха бы не посеял... восстание, конечно, разогнали, самого Бедреддина, в горы загнав, повесили, но даже спустя несколько лет зрачки крестьян нет-нет да и полыхнут измирским заревом, скрипнет песок на стиснутых зубах, заиграют желваки, и сорвется злое слово с губ ремесленника... и снова окрашивается рассветное небо цветом страха власть имущих, цветом гнева и крови, цветом ярости и стыда, и для живущих чужим трудом да трудами несправедными цвет этот был страшной надвигающейся ночи... только срок дайте — всех повырежем, когда времена подойдут да воды нахлынут, не дай вам Боже, чтобы нога подсеклась, затопчем ведь, отольется вам слезами кровавыми золото нашего пота да стиснутое дыхание, поскользнетесь еще на выхарканном в каменоломнях, обожжетесь разожженным в кузницах, вляпаетесь еще в замешанное на гончарном кругу, раз за душой ничего и на душе пустота, так мы душу из вас обязательно вынем... И шла волна по всему Востоку, что у Бедреддиновых ребят все общее, кроме женщин, из одного котла едят и людям всех вер рады, захотел помолиться — отошел в сторонку и молишь, как веруешь, как умеешь... и стекались к ним со всех сторон замордованные да налогами задавленные, за неурожаем поротые, за недород битые, за пролитое наказанные, и греки, и турки, и евреи, и курды, и арабы, все одним матом крытые, тем же дождем моченные, тем же хлебом насыщаемые, теми же словами утешаемые. Бежали к нему и отставные солдаты, чьи глаза, единожды кровь увидав, остановиться были не в силах; шли тайными тропами горцы, которых не раз пытались привести к покорности; разоряя родные деревни, бежали крестьяне, битые-поротые, полузадушенные налогами; пробирались в ночи ремесленники, привыкшие видеть в полумраке мастерских, — разношерстный люд сходился, но всем и каждому до хрипа хотелось свободы... И в муках, в крови, в зареве пожаров рождались новые принципы человеческого общежития: раз мы прекрасно обходимся без власти предрешающих и промеж себя сами договориться способны, то налоги нам платить незачем. Костяк движения составляли люди из «ахи» — цеховых братств («ахи» и есть «брат», в переводе). Умелые, выносливые, спаянные достаточной для восточного разгильдяйства дисциплиной, они обучали новоприбывших нехитрому уставу: каждый из нас — твой брат. Каждая из нас — твоя сестра. У тебя нет ничего, что принадлежало бы безраздельно тебе, кроме ложки, тарелки и женщины, что твоя только по ее согласию. Все остальное твои братья могут взять на время, не спрашивая на то твоего разрешения. Ты тоже можешь пользоваться их вещами в любое необходимое тебе время. Но учтивость приветствуется, а споры и недоразумения решаются умудренными опытом мюридами (верными учениками, из тех, кто поопытней). Если ты недоволен решением, вынесенным ими, ты можешь его обжаловать у самого Бедреддина, если он не в отъезде. Примитив? Безусловно. Коммунизм? Однозначно. Но сделайте скидку на пятнадцатый век, ведь еще нет анабаптистов, еще не слышен голос Мюнцера, нет Бебеля, еще не родился Маркс, еще не появился организованный и вообще пролетариат, но уже разогнаны чомпи, уже вонзен кинжал в шею Уота Тайлера, уже короновали раскаленным железным обручем

Гильома Каля. Именно так, и никак иначе идет борьба за более справедливое социальное устройство, именно так и получают, а точнее, вырывают с мясом право на хлеб, голос и справедливый суд, а потому — не смейтесь над их наивностью, грех это перед Богом и вашими предками.. Движение Бедреддина Симави расплзется до территории современной Болгарии, а самого Бедреддина схватят и казнят в ныне греческом городе Сере то ли в декабре 1416-го, то ли осенью 1417-го, а в летописи «Шараф-намэ» (Книга Славы) вообще говорится о 1420-м... Но я возьму за точку отсчета именно декабрь 1417-го, чтобы сумбура да путаницы в рассказе не было, а вы уж сделайте такую милость и поверьте мне на слово... Смерть вождя не всегда означает смерть движения. Разрозненные отряды повстанцев, верных уставу Бедреддина, беспокоили всех раззолоченных еще лет, наверное, десять, пока не были загнаны в леса и горы, словно дикие звери, и не казнены после жесточайших пыток. Одно имя «Бедреддин» вызывало страх, хотя его почти непререкаемый авторитет богослова не позволил никакой власти запретить его ученикам возвести ему мавзолей... Личность харизматичная, убежденная, умеющая убеждать и не разочаровывать сторонников, Бедреддин, безусловно, заслуживает отдельной книги, но у нас есть свой герой, а потому, уважаемые, поспешим-ка мы снова в славный город Халеб, что ныне, в Сирии находясь, Алеппо называется, а в те далекие времена был вотчиной египетского султана Муаяйяда, где, за дальностью Каира, правил наместник его величества Иззуддин Шамсаддин ибн Амин-уд-Довле... но перед этим буквально несколько строк Назыма Хикмета, о Бедреддине и бедреддиновцах:

За то, чтоб вместе всем одним дыханьем петь,
 Чтоб вместе всем тянуть с одним уловом сеть,
 За то, чтоб сообща поля пахать,
 чтоб из железа кружева ковать,
 чтоб вместе всем срывать плоды с ветвей и
 есть инжир медовый в общем доме,
 чтоб вместе быть всегда и всюду,
 кроме как у щеки возлюбленной своей...

...Трудно читать стихи на голодный желудок, христианин не поймет, мусульманин отвернется, иудей и слушать не станет. А потому ноги всех, кто в Бога верует, сами ведут туда, откуда приятно тянет запахом свежесдобитого хлеба. В особенности если до полудня проспал и жрать уже до судорог хочется. А откуда запахом свежесдобитого хлеба тянет, то любому нос подскажет и ноги выведут. На базар, разумеется, и помните, люди странствующие, что чем непрезентабельней помещение, тем еда вкуснее. И пусть подушки там, что под бока кладутся, не шелковые, и пусть ковры там, на которые садиться положено, истертые, и кто-то приткий у кувшинчика для омовения рук уже носик отколос, качество еды с лихвой все эти недостатки перекроет. Да так перекроет, что ты, путник, о недостатках этих и вспоминать не захочешь, а если чего и захочешь, так только добавки и еще раз в это место вернуться. И шли Насими с Ходжой по базару, протискивались между людьми торговыми, хитрыми, с глазами масляными, голосами медовыми. Потолкались сперва у лотков со сладостями, с ароматными травами, благовониями, пряностями моллукскими, попили сахарной воды со льдом, поглядели на гулящих дев, что для вящей привлекательности бирюзой иранской шею и пальцы украшали, помотал Насими головой, просто так, из удали, подмигнул самой нахальной, а когда

она обиженно показала ему язык, залился веселым смехом человека, которому совершенно некуда спешить. Во всяком случае, сегодня. Но поспешить все-таки пришлось. На шум. А шум и на без того шумном базаре означает, что или кто-то чего украл и этого кого-то сейчас всем базаром ловить станут или поймали уже и бить собираются, или же просто дерутся. Для собственного удовольствия. Мало ли поводов на свете. Да и вообще базар... и людей много, и товаров полно, мозгов же, как всегда, не хватает... вот сойдутся двое, схожие-похожие, челюсти широкие, а лбы узкие, читать не умеют, насчет писать и не спрашивай, сцепятся сдуру, сперва на словах, потом на кулачки перейдут, в пыли вдоволь поваляются, а как кровь глаза зальет — за ножи возьмутся, и раз-раз — пошли рабы Божьи: один к Царю Небесному, а другой — к царям земным, на плаху, во искупление крови пролитой, или в каменоломню, чтоб вину отработать... обоим грех, потом одному смерть, а другому, если повезет, — карьер каменный... мрамор на украшения резать да глыбы взад-вперед перетаскивать. Пыль глотать да темя с боками под солнце подставлять, что та же смерть, только медленная, немного отсроченная. Ну а раз так, то нельзя допустить, чтобы две души сразу погибли. Содействие в душегубстве получается, обязательно разнять надо. Правда, есть риск ножом в бок получить, но нерискующий мало того, что чужой души не спасет, так и свою погубить рискует. А потому Ходжа с Насими переглянулись, убедились в том, что подумали об одном и том же, и бросились разнимать. Тут главное — под руку дерущимся не соваться, чтоб самому не попало, сзади подойти надо и, вместе с другим разнимающим драчуна под руки подхватив, от противника оттащить. Главное, чтобы до ножей не дошло — можно просто не успеть. Не дай Аллах под чужой нож да в чужой драке попасть. Глупо и даже стыдно. Наши герои стыда с глупостью дожидаться не стали и дерущихся враз растащили...

Узкий лоб не всегда означает кулаки умелые. Наоборот бывает даже чаще. Вот и эти, которые драться собирались, сразу поняли, что да к чему, — вырваться не стали, а то, не ровен час, разнимающих сгоряча обидят, и за такие дела разнимающие в участвующих превратятся. Присмирели, грубить на всякий случай воздержались, даже поблагодарили Ходжу с Насими за то, что те помогли им избежать греха мордобития, и вежливо пригласили друзей разделить с ними трапезу. Ни Насими, ни Ходжа отказываться не стали: отчего бы не пойти, раз приглашают? Ну и заглянули в первое попавшееся заведение. Не подобает уважающему себя и сотрапезников человеку принимать пищу в молчании, застольная беседа — дар Божий: и сердце веселит, и время скоротать помогает. Уселись, попросили плова в мисках побольше да воды в чашах похолоднее. И завели беседу неспешную, что да кто, зачем драться начали да с чего разнимать полезли. Драчуны братьями оказались. Двоюродными, правда, но все равно, драка между родственниками еще никому чести не делала. А началось все с пустяка, как все безобразия и начинаются. Искали они седельника, седло старое отремонтировать, ну и споткнулись на вопросе, к которому именно обратиться. Слово за слово, вспомнили старое — кто и когда кому неуважение оказал или неприятность мелкую доставил — и сцепились. И одному Богу известно, поножовщиной или членовредительством эта ссора закончилась бы, не подоспей Насими и Ходжа вовремя. Самым же поучительным оказалось то, что, пока братья хватали друг друга за грудки и толкались, седло, подлежащее ремонту, им пришлось положить на землю, чтобы не мешало. А делать этого на базаре нельзя ни при каких обстоятельствах, больно люди там ушлые. Украли. Насими, конечно, от души посмеялся над незадачливыми драчунами и высказался в том смысле, что, пока двое дерутся, всегда может найтись кто-то третий, кто с этого дела хорошую прибыль получит. Впредь, сказал, уроком будет. Не ссорьтесь или,

если без этого никак нельзя, всегда одним глазом на вещи поглядывайте. А то в следующий раз или ишака уведут, или кошелек с пояса срежут. Ходжа, как водится, добавил, что при известной сноровке жулье, что всегда на базаре ошивается, даже пояс у незадачливых драчунов увести может, да что там пояс, штаны на ходу сдернут, если зазеваешься. Посмеялись, с чего бы над делами минувшими и не посмеяться, особенно если плов горяч, а сверху мясо горкой, когда же еще радоваться прикажете? Радость застольной беседы — дело всегда душу греющее, хоть жара на дворе, хоть холод, но у Насими на уме вертелось очередное четверостишие, которое надо было оформить да отшлифовать перед состязанием, потому что вдохновение — такая штука: уйти решит — остаться не умолишь, погодить не упросишь, сбежать захочет — так цепями не удержишь, а вздумается ему промеж пальцев стечь — так сжимай кулаки или нет — все равно ведь уйдет, убежит, растечется. А потому момент ловить надо, хоть посохом на песке строчки складывай, не ровен час, из головы вылетят, ищи их потом среди запахов, образов да видений, хоть ту же самую стену пальцами вновь и вновь щупай, чтобы ощущения вернуть, нет — и все тут, как тогда, не выходит. Такая вот участь, жизнь-судьба у поэтов, и слышится в ней что-то страшное, а потому будьте к ним снисходительней, если им куда срочно уйти надо. Насими незаметно, глазами, показал Ходже, пора, мол, состязание скоро, мне до него еще кое-что набросать надо. Ходжа всем своим видом показал, что неудобно, позвали же, тут, мол, и пиши, если зудит да талант девать некуда. Но Насими продолжал настаивать, делая страшные глаза, и Ходже не оставалось ничего другого, как проявить понимание, потому что спорить с поэтом, у которого началось... Куда там... Потянули время, самую малость, чтобы братьев не обидеть, и распрощались, шутливо наказав больше не ссориться, а то вдруг их, Ходжи с Насими, поблизости не окажется, тогда или ребра затрещат, или, упаси Аллах, дело смертоубийством закончится. Распрощались вежливо, приняли еще раз слова благодарности (расплатиться братья не позволили) и, провожаемые сотней благословений, покинули харчевню. Место найти, где Насими мысль, в воздухе витающую, в стихотворный вид привести сумел бы, — дело нехитрое. Завернул Насими за первый попавшийся угол, сел на землю и давай на песке пальцем строчки выводить, а как остался оставшимся доволен, вздохнул и сказал Ходже: готово, теперь и на площади, горло рвя, прочитать не стыдно. Вот... оцени...

Любви страданье длится много дней.
 Тем сладостней любовь, чем боль сильней.
 Любимые наносят нам обиду
 Тем большую,
 Чем сами холодней.

Порой мы, любящие, счастья ищем
 В недобрых взглядах, в звуке злых речей.
 Любовь вам не ответит на вопросы —
 Как, почему, зачем, откуда, кто и чей.

Создал я б книгу
 Красоты любимой,
 Сто тысяч глав обширных
 Было б в ней...

...Человек без тоски подобен животному, тоска двигает струны, что протянуты к сердцу, и предвосхищает появление вдохновения, а без грусти вдохновение редко бывает полным, написанное же в лучшем случае оставляет привкус половинчатости.. спасибо, если не вымученности, потому что вымученно написанное совершенно никуда не годится... да ты, Насими, и сам вымученное на людях прочитать не согласишься... не к лицу, сам Насими все-таки, и имя есть, и слава вперед тебя бежит, а потому пока тебе самому написанное не понравится — ни за что на людской суд не вытащишь, сиди и шлифуй, рифмы правь да размер строк под стандарт подгоняй, и невелика беда, если к состязанию опоздаешь, ведь не стыдно на ишаке по улицам ездить, стыдно у всех на виду с него, длинноухого, наземь грохнуться, не так ли? А теперь — на состязание, товарищи, смотреть, слушать, сидеть тихо да дыхание сдерживать — уважаемые люди соревноваться будут, о любви говорить, о Боге в стихах беседовать, когда и поссорятся, но им без этого — никуда и никак, что они без этого за поэты? Так, недоразумение, рифмы складывать умеющие... Вперед, вперед, слушать да смотреть будем...

...Сидел люд пишущий, на состязание пришедший, на коврах да подушках мягких не где-нибудь, а в доме местного богача, торговца шелком, который сам стихов не писал, но поэзию любил, да еще, говорят, с женой недавно рассорился, вот в пику ей и позволил провести состязание у себя, да не просто позволил, а долго-долго устроителей упрасивал, не откажите, мол, в просьбе скромной, мне честь, а пишущим — комфорт, шербет да прочие удобства, помимо чести и уважения. Смотри, мол, жена, да дуйся дальше, надоели мне некультурность твоя да скандальность, гляди, с кем дружбу вожу, — люди образованные, стихи слагающие, так что зря ты мне на мою неотесанность да пузо большое пеняла. Ну да, толстый был, не без этого, так купцу крупному по-другому нельзя — худоба да резвость хозяину большой лавки ни к чему. Это разносчики должны subtilностью и легкостью членов отличаться, потому как тем и кормятся, а для купца живот — первейшее дело. Солидности прибавляет, конкуренты и соседи завидуют, поставщики, опять же, при случае в долг верят, да и как тут не поверить-то? Животик круглый, ножки коротенькие, сам из себя весь такой с ленцой, медлительный, куда ж он с качествами такими да резвостью отсутствующей денется? Да и вообще торговец, себя уважающий, ни в коем разе не должен первым из-за угла дома появляться, а только за животом следовать, сперва живот, а потом хозяин. Соседям на зависть, поставщикам на радость, султанской/ханской/царской/президентской казне на заметку. Поведение же у лавочника должно быть солидное, сдержанное, некрикливое, крики — они, опять же, более разносчику приличествуют. А хозяин — он всем продает, но никого и ни под каким видом в лавку не зазывает, кому надо — тот сам найдет, а если сам не найдет — так люди подскажут, был бы в доме мир да покой... а купцу — все равно спасибо...

...И настал этап стихотворного состязания, где самым важным является импровизация, да не просто импровизация, а импровизация насмешливая, острая, язвительная. В ней самое главное — соперника высмеять, уколоть в стихотворной форме, да позлее, с условием ни рода, ни народа, ни веры его не ругать и не трогать. Резвитесь, мол, поэты, дразнитесь, пишущие, но в рамках, а то и до крови недалеко, а ею только на бумаге писать можно, если совсем неумоготу, а на пол или землю проливать — не годится... в рукопашной не сходиться, не в рифму не браниться, после — побрататься. Желательно... Насими достался противник малоизвестный (сейчас о нем разве что специалисты вспомнят), о себе особо ничем не заявивший, а из литературного наследия — только то, что с самим Насими в Конье на состязани-

нии схлестнулся. Стишата посредственные, характер скверный, ругательный, а скверный характер простителен и терпим только при наличии таланта соответствующего, вот Насими он был бы к лицу, а Джангиру (Джахангир, Джихангир) Дуньямалы (соперника звали именно так) — совсем не по чину. Джангир родился где-то под Исфаханом, роста был невысокого, лицо в оспинах (живучий, выжил, выкрутился), в зубах нехватка (били, видать, не раз, за злой язык да плохой характер) да пальцы короткие. Если, до седины дожив, ни разу такого не встретили, то вот вам совет: не доверяйте гусю такому ни при каких обстоятельствах, не зря про короткопалых да постоянно шурящихся старики всякие разности говорят... старые люди зря болтать не станут... И вышел этот Дуньямалы-Джихангир, подбоченился, чуть ли не на цыпочки встал, чтобы ростом выше казаться, и давай над Насими подшучивать, да не по-доброму, а плохо так, со злобой. Мол, и сапоги стоптанные, и халат истершийся, и штаны худые, аж естество просвечивает, знать, не кормит поэзия, не поит, хотя поить должна, потому как под глазами у Насими — круги синие, то ли ночи бессонные, то ли чаши бездонные. Как он все это в рифму сложил да в стихотворный порядок привел — цитат приводить не стану, литературных достоинств там мало, а смешного — и того меньше. Хамства, однако, хватало, без малейшего уважения насмешки строил. Прибавьте к этому неприятный, скрипучий голос и вытаращенные бараньи глаза. Насими, казалось, не было никакого дела до Джахангировых укулов, грозящих вот-вот перейти в прямые оскорбления: стоял себе, опершись на посох. Как вдруг поднял глаза на соперника, потом перевел взгляд на ухмылявшихся зрителей и выдал. Кратко выдал, с одного-единственного удара, одним двустушием размазал соперника по стенке:

Раскрываю окно — предо мной целый мир,
А штаны приспущу — предо мной Джихангир.

(Автор намеренно допускает явный анахронизм: эти строчки принадлежат другому поэту, едва ли менее талантливому, а именно Али Аге Вахиду.)

Слушателей словно подбросило, они буквально плакали от смеха, утирая слезы кто полою халата, кто платком, а кто и просто размазывая их по лицу. Ходжа, так тот вообще от смеха чуть было не повалился на какого-то ремесленника, сидевшего впереди. Кто-то держался за живот, кто-то хлопал по плечу соседа, повторяя: «Нет, ну ты слышал, как он его, глядит Джихангир, ха-ха-ха». Кому-то занимаемая должность или возраст и обязательная в таком положении солидность не позволяли хохотать во все горло, и они беззвучно тряслись от смеха, прикрыв рот ладонью и зажмурившись от удовольствия. Распорядителю стоило немалых трудов призвать слушателей и участников к спокойствию, он даже был вынужден несколько повысить голос, но когда хохот и восторженные хлопки затихли, в зале снова раздался скрипучий голос Джахангира, который явно нарывался:

— Говоря «Джахангир» (в переводе — повелитель), какого именно джахангира ты имел в виду?

Зрители замерли от такого оборота, Насими побледнел, судорожно вцепился в посох, аж костяшки пальцев побелели: кому ж охота с палачом знакомство свести, и ладно, если б за столом, так лишь бы не на столе. Подлый прием... доносом грозит, а оскорбление величества — это дело государственное... на самом деле строчку-то эту и так и эдак понять можно, а там как дело повернут. Захотят — боком выйдет, а захотят — из зиндана выйти позволят... Гнетущую тишину нарушил голос распорядителя, который призвал слушателей успокоиться, а Дуньямалы — у бояться гнева Аллаха и вспомнить о совести, потому что он, распорядитель, человек в

возрасте, уважаемый, врать не станет, и если будет надо, положив руку на Священный Коран, принесет клятву именем Божьим, что в стихах Насими не было оскорбления ни Божьего, ни человеческого величия. И да поможет ему в этом Всевышний Господь, а также собравшиеся слушатели, ценители стихов, меткого слова, и все добрые люди, не любящие неправды. Уймись, Джихангир, умеи проигрывать и помни о Судном дне, где все сказанное или написанное будет свидетельствовать в твою пользу или в доказательство тяжелой вины. Джахангир тяжело задыхался, опустил голову, понял, что обстоятельства не на его стороне, и прошипел, злобно глядя на Насими: «Торке хор» («тюркский, турецкий ишак», *фарси*). Оскорбление было тяжелым, зрители и распорядитель не успели и глазом моргнуть, как Насими вдруг повернул посох одним движением кисти, извлек из него кинжал и приставил к горлу Джихангира. Джангир испугался не сразу (все произошло настолько быстро, что у него просто не хватило на это времени), но, заглянув в глаза Насими, сразу все понял и сник. Одно дело — языку волю давать, а другое — когда за эту волю его, язык то есть, до самого верхнего неба проткнуть могут. Как тут не обмякнуть... Распорядитель не без усилий, но на правах старшего отвел кинжал от горла Джангира, что-то шепнул на ухо Насими и громко сказал: «Обнаженная сталь должна испить крови. Но я не позволю ей пролиться в этом месте. Потому я обяую Джангира извиниться, а Насими — проявить милосердие. Впрочем, по окончании состязания Насими может изменить свое решение. Потому я рекомендую Джангире покинуть город, как только собрание закончится, чтобы никого в грех не вводить». У Джангира были все основания принести извинения как Насими, так и собравшимся и скрыться как можно скорее. Немалая часть зрителей как раз и состояла из «торке», которые за «хор» могли уши отрезать, и даже начала нехорошо так переглядываться и перешептываться. А отрезанные уши — позорное наказание, даже если дистанцироваться от того, что без ушей на свете жить очень и очень плохо. Джангир не был равнодушен к жизни и смерти — зло поглядывая на Насими, извинился и, не смея взглянуть на распорядителя, пытался было незаметно уйти, но Насими, вложив кинжал в посох, вдруг размахнулся и вцепил ему такую оплеуху, от которой тот полетел наземь. Тяжелая рука, Имадеддин, тебе б каменщиком работать, булыжники с места на место перетаскивать, а не стихи писать, но ничего, у тебе еще есть время, немного, но есть, так что успеется... и камни, и вирши, и ветер, и свитки.. Сбил наземь да спервоначала плюнуть хотел, потом, видимо, раздумал и, резко развернувшись, отошел и сел на свое место. Рядом с несколькими растерянным Ходжой. У того, бедняги, аж челюсть отвисла: не ожидал он поножовщины да мордобития на литературном вечере. Джангир же, придерживая окровавленное ухо, счел за лучшее незаметно испариться. То ли от греха подальше, пока после оплеухи пинок или кинжал под ребра не последовал, то ли напакостить чего решил. Скоро узнаем... ночь на Востоке короткая, а рассвет скорый, вот рассвет — разглядим...

...Решил Насими, что не годится из Коньи уходить, Джангира не проучив. Оплеуха оплеухой, но все же надо бы добавить. Пиар-технологии тогда пожиже были: ни журналов тебе, ни Интернета, ни телевизора, вот и приходилось пробавляться распусканием слухов про противника. Чего проще: купил горсть орехов да кулек сладостей и дал мальчишкам уличным со строгим наказом: бегайте по площадям и базарам, шныряйте возле бань и выкрикивайте это четверостишие... понравится — еще столько же получите, а нет — не взыщите... так и бегали плохо воспитанные юноши младшего до- и школьного возрастов по улицам, выкрикивая то, за что им проплачено было, или то, что им по сердцу пришлось... Вот и Насими ни на орехи не поскупился, ни на сладости, недруга ославил, полгорода за животы

держалось да из уст в уста передавало: бхе-хе-хе, вы слышали, уважаемый, глядит Джихангир, хо-хо-хо... надолго Дуньямалы Имадеддина запомнит... да и Насими его душу черную, завистливую вспомнить придется...

Все на свете свое завершение имеет, и порешила судьба, что достаточно Насими с Ходжой дорог исходили. Далеко на северо-запад не пойдешь — там земли Румов, но Восток большой, путей много, и каждый из них к твоим услугам. Время пришло, освежил ветер дыхание, подтолкнул в спину и понес дальше, куда Бог нужным сочтет. Прощание затягивать не стали, но глаза, друг от друга отводя, прятали. Обещали, конечно, что снова рано или поздно встретятся, потому что кто знает, где да как дороги пересекутся, но сами в сказанное верили мало, обещали помнить и не забывать, потому как, кроме дороги, мало что так людей сблизить способно... разве что война или голод... говорят, что Ходжа повернул на север, и спустя несколько месяцев его видели где-то возле Карса, а Насими повернул к Казвину, в Иран... долгая дорога от Коньи до Казвина, не день и не два, и если боков не обдерет, то душу вытрясти очень даже способна...

9

- Приветствую тебя, Насими.
- И тебе привет, добрый человек.
- Мы незнакомы, но я о тебе слышан. Кто же не знает Насими из Ширвана.
- Благодарю за добрые слова. А как твое благородное имя?
- Называй меня просто Ибн-Сейфал. Я хотел бы обратиться к тебе с просьбой.
- Сын Сейфала... мне сложно выполнить просьбу странника, пусть даже почтенного, не зная его настоящего имени, ты уж прости.
- Не горячись, Насими, это ведь тоже не совсем твое и не совсем настоящее имя. Так что тут мы с тобой квиты. И разве слово «Насм» не означает «утренний ветер»? Ты не знаешь моего настоящего имени, я не знаю твоего.. А разве Аллах и Его пророки не велели нам быть справедливыми? Будем же стремиться к совершенству.. Да это и не совсем просьба. Я просто пришел напомнить тебе об одной встрече...
- И что ты о ней знаешь?
- Больше, чем ты предполагаешь, поэт... гораздо больше...
- Ну назовись тогда.
- Мое настоящее имя тебе ничего не даст...
- Ты знаешь обо мне больше, чем мне бы того хотелось, Ибн-Сейфал, а я о тебе не знаю ничего, кроме имени... По моему, это несправедливо.
- Я мойщик трупов в главной мечети города. Мертвым порой известны тайны, скрытые от живых. Люди же, имеющие дело с усопшими, тайного не ведая, способны догадаться о сокрытом.
- Ты так говоришь, словно уже омыл мое тело в мечети.
- И это успеется... Все рано или поздно ко мне приходят, что поэты, что крестьяне.
- А ханы с султанами?
- Ну, ханов лично у меня не было, султанов тоже. Зато пару раз приходилось омывать сборщиков податей, а как-то раз — главного городского судью. От простого горожанина разве что толщиной живота и отличался. Но судьи и сборщики налогов, конечно, прибыльнее, потому как на них больше воды и мыла уходит, да и трудов.
- Да ниспошлет тебе Всевышний Аллах побольше работы с большими людьми.

— Доболтаешься ты, Имадеддин... голова твоя и так на плечах непрочно сидит. Никак в толк не возьму, ты это намеренно или по глупости?

— По вере...

— И что есть вера твоя?

— Проста она. Поклонение Ему без знания для иного содержит вреда больше, чем пользы... Это не я говорю, это говорил наш пророк и посланник, я лишь повторяю слова его. Изучай, читай и читать учи, иди за три моря, если это принесет тебе знание, не зря первая ниспосланная (сура) начиналась со слова «Читай» и называлась «Калам»...

— Сложно с тобой, чуть возрази — у тебя в ответ целая речь наготове.

— А разве должно быть легко?

— Ты со словами поосторожнее, и не только в стихах... на площадях, в питейных, в переулках опять же... не стоит при виде похорон вельможи или сановника говорить: «Сегодня одного увидел, а завтра, даст Аллах, сразу двоих узрею»... или потише хотя бы...

— Донести могут?

— Могут.. Уши у многих длинные, а ноги быстрые... ты и так у всех на виду.. как бельмо... а что Осман с тобой разговаривал — об этом многие знают, и кое-кому это не нравится. Настолько не нравится, что тебе опасность нешуточная грозит. Тебе Осман письмо передал. Делами интересуется и снова к себе зовет.

— Спасибо, что взял на себя труд передать его мне.

— Не благодари, для меня большая честь оказать Насими небольшую услугу. Но ради Аллаха, будь осторожнее... времена тяжелые идут...

Ты доволен, что розы покрыли цветник,
Что жасмины вокруг разрослись.
Оцени ж этот миг, ибо все пропадет
Через пять торопящихся дней.
Пусть подобны дыханью Иисуса слова,
Что изрек пред тобой Насими...

...Сказывали, что на исфаханском базаре Насими повстречал нищего, который, закатив глаза, нараспев читал его стихи. Не даром, разумеется, — перед оборванцем стояла чашка, почти доверху наполненная медными монетками, среди которых нет-нет да и посверкивали и серебряные. Хорошо декламировал, с нужной интонацией, где надо — паузу делал, где полагается — глаза закрывал, правда, в паре строчек ошибку допустил, слово рифмованное, а не то, у Насими в этой строчке другое слово было, пусть созвучное, но все равно другое. Насими указал декламатору на ошибку, но тот лишь ноздрями дернул, пренебрег: я, мол, тут самого Насими декламирую, а всякий меня поправить да одернуть норовит. Это, конечно, очень приятно, если тебя даже нищие на улице цитируют, да не просто цитируют, а еще и деньги за это получают, но окажи ты уважение автору и цитируй его правильно, раз уж с декламации прибыль имеешь. Насими решил было пойти себе дальше, ухмыльнувшись, но нищий оказался редкостным нахалом и клещом вцепился в Имадеддина, требуя денег. Насими пытался было от него отвязаться, отговаривался отсутствием мелких монет, но нищий нагло заявил, что и крупными не побрезгует. Пришлось раскошелиться на целый динар. Во-первых, на самом деле мелочи не было, а во-вторых, услышать, как твои стихи какой-то оборванец читает, с того кормится да с тебя же, грешного, за услышанное деньги требует, — разве такое не стуйт полновесного динара? Вот и Насими рассудил точно так же, но, по слухам, распла-

тившись, немедленно покинул Исфахан. В городе начиналась чума, и он не хотел встречаться с этой зловредной и неграмотной теткой, которая не делает никаких различий между поэтом и крестьянином, вельможей и ремесленником и вообще стоит вне классов — над царями и нищими, начальниками и подчиненными, стариками и молодыми... Хотя это, может быть, просто легенда, и Насими, который с возрастом стал осторожнее, здраво рассудил, что незачем ему оставаться в городе, где даже нищие зарабатывают себе на хлеб чтением стихов. Так и без чумы до беды рукой подать. Раз стихи читают, самого вмиг высчитать могут, а вокруг все кипит, мир в очередной раз делить и переделывать собираются, в такое время узанным быть как бы и ни к чему, целее будешь, поэт...

...Говорят, Насими некоторое время работал на строительстве мечети в Багдаде, в квартале Баб-аль-Шарки. Месил раствор, таскал кирпичи, а потом даже учился вставлять разноцветные стеклышки в деревянные рамки — это ведь целое искусство и только со стороны может показаться делом нехитрым и сноровки не требующим. Так что если эта мечеть стоит до сих пор и если витражи в ней не выбили многочисленные перевороты и оккупации — Насими продолжает жить в каждом солнечном луче, что просачивается через разноцветные стеклышки... Днем строил мечеть, а вечером, после работы, бродил по Багдаду, строениями любовался, новые стихи себе под нос бормотал, с людьми разговаривал, одно время даже преподавал в медресе каллиграфию и грамматику, пока неумная тяга к странствиям не сняла его с насиженного и удобного места... куда уж лучше, и работа такая, что свободное время для стихов остается, и обращение уважительное, и деньги регулярно платят... и чего, спрашивается, в Багдаде не сиделось... знаменитостью уже стал, стихи даже мальчишки на улице распевают, в историю вошел, со знатными знался... или, может быть, не вошел бы ты в историю и забыли бы и о тебе, и о твоих стихах даже уличные мальчишки, не направься ты в Алеппо и не прими ты там смерть страшную...

Задул ветер с Запада — поднял тучу пыли, пришел ветер с Востока — принес соленые брызги, тучам пыли — свое место, а соленым брызгам — свое, тебе же, Насими, с первым караваном в город Халеб, что теперь Алеппо называется. Не один год миновал с той поры, как разошлись дорожки Ходжи и Имадеддина. Насими исходил сто дорог, по слухам, дошел до края уйгуров на востоке Востока и до страны карматов (Бахрейн) на его юге. Он даже совершил паломничество в Мекку, после чего получил право носить зеленую чалму и уважительно именоваться «Хаджи», не буквально именоваться, а просто использовать приставку «хаджи» перед именем... но он все равно предпочитал зваться «Насими», год мотал срок в темнице султана Баязида, потом еще год — при Мураде, что тоже султаном был, да и сменившийся эмир Багдада его милостью не обошел, все за то же — за язычину язвительную... Теперь сам Бог велел из Багдада ноги уносить, право же, чего тут оставаться, раз и улицы знакомы, и темницы ведомы...

...Допускаю, Насими, что к сорока пяти годам ты вообще стал раздражительным, приобрел привычку покусывать губы, разлюбил спорить с людьми, предпочитая просто выслушать, да и то не каждого, разговаривать вообще старался поменьше, а если и говорил, то только со своими, да где ж тебе своих взять-то было? Когда особой надобности не было — молчал себе в сторонке. То ли от мудрости, то ли возраст сказываться начал, то ли все, что сказать надо было, уже высказал. Или просто устал. Не исписался, но почти выговорился, не состарился, а просто поседел, не болен, а вот отдохнешь немного и снова яростно за старое примешься, ни себя, ни других ни жалеть, ни помнить не станешь. Будто чувствуешь, что мало тебе осталось, и вот она, жизнь, к своему концу подбирается, в висках ночами сту-

чит, глазами выкатывается, без вина пьян шатаешься, ноги скрестив, до весны до-кашлять надеешься и места себе не находишь, а как найдешь — так нипочем тебя с того места не сдвинуть, пока сам его поменять не решишь. Только тишины ты так и не полюбил, даже заставить себя пытался, но не выходило, и все тут...

...И сменялся день ночью, зима — весной, а засуха — наводнением. Дни тянулись медленно, годы же летели стремительно, и лишь седина в волосах памяткой о прошедшем усмехалась. Шел Насими по земле Божьей, никому не подданный и податей не платящий, солнцем жженный, дождем моченный, то он годы обгонит, то они его, то он на месяц исчезнет, то месяц из жизни выпадет, если ни строчки не написано, то в парче он, то в лохмотьях, то с трудом медяков наскребет, чтобы за ужин заплатить, а то сорит деньгами без счета... Шутка ли, человек без малого весь Восток ногами смерил, а треть мира исходивший всегда неровно живет: медь-золото, медь-золото, медь-золото..

Знаешь, где свое начало весь наш мир берет?
Человеческий откуда происходит род?
И откуда происходит вер различных ряд,
Убеждений, мнений разных — кто лишь их сочтет?
Почему один все время знает лишь печаль,
А другой, не зная горя, в радости живет?
Насими, скажи всем, что ты ведаешь о том,
Почему тому достаток, а тому — лишь гнет...

В пути именно такие строчки в голову и лезут, другим мыслям в дороге не место, сплошные «знаешь», «откуда» «сколько» да «почему»... разве что пейзажем окружающим любоваться, а досыта налюбовавшись, описать умело, но местность Насими описывал редко — ему все больше Бог да люди интересны были... и мир с его дорогами, как что-то к Богу и людям приложенное... без пути и жизни такой не было бы... привела, привела кривая...

...Мне всего сорок шесть, и у меня все впереди, а когда мне стукнет пятьдесят, скажем, восемь, я скажу, что мне всего пятьдесят восемь, и снова повторю, что у меня все только начинается, — отшучивался Насими на вопросы о возрасте и творческих планах, а сам думал, верно, мол, говорят, обсыпало бороду известью, пали звезды на голову... не известь, не звезды, да и не перхоть это, а седина да время, нервы да усталость, что, сливаясь в точке пространства над головой человека, превращаются в белую краску и окрашивают сединой волосы и бороду... в час, когда он крепко спит, совершенно не помышляя о том, что происходит над его головой... под носом, впрочем, тоже... поэты вообще мало склонны что-либо у себя под ногами рассматривать, все в небо пялятся, вот и Имадеддин исключением не был — дразнил людей рассуждениями, разве что у проповедников хлеба не отбивал... присядет и смущает разговорами да догадками... один раз вообще договорился до того, что Бог запретил есть свинину потому, что свинья — одно из немногих животных, которое никогда не смотрит вверх, а потому не в состоянии увидеть ни звезд, ни небосвода, а тот, кто всегда смотрит только под ноги, не замечая неба, не заслуживает ничего, кроме проклятия Божьего, и имя его да станет оскорблением. Подобные высказывания ему популярности не прибавляли, хотя это как посмотреть: кому нравилось, а кого бесило... некоторые просто ждали повода поквитаться, то ли из врожденной вредности, то ли на самом деле Насими их задел. Сидели и ждали... ты, мол, болтай себе, пока болтается, а вот когда нога на ровном или не очень месте подвернется, тут-то мы тебя и того... нет, накроют тебя другие, да и яму тебе

сами копать не станем, но вот если позовут засвидетельствовать чего — все как на духу выложим, и то, что было, и то, чего не было, было — подтвердим, не было — придумаем и тоже подтвердим... а не болтай, чего не просят, не смущай, не дразни достопочтенных граждан, что, больше всех надо или самый умный выискался? Страшно человеку поэтом быть, но еще страшнее поэтом оставаться, и нет смысла искать живого среди мертвых, потому что мертвых среди живых без того предостаточно..

...Всякое на свете случается, и от случайной раны в случайной стычке не застрахован никто. Будь ты хоть городской голова или сам начальник полиции. Вот и тут, шел себе начальник полиции (ассес-баши) домой, никого не трогая, правда, на всякий случай и по привычке начальственно во все стороны поглядывал. А тут, как назло, подгулявшие каменщики повздорили. Дело пьяное, сказал кто-то кому-то что-то неучтивое, локтем близсидящего задел или вообще немислимое учинил: вино разливая, сидящего рядом обделил (во избежание подобных казусов в уважающих себя питейных заведениях в те далекие времена существовали виночерпии, а в заведениях посolidнее даже девушки, выполнявшие ту же функцию. Не станешь же ты по пьяни при девушках драку устраивать, да и в случае проигрыша — стыда не оберешься, а потому, от греха подальше, пусть лучше девушки вино разливают, какая-никакая, а страховка. А если кто к девам с кувшинами приставать начнет — так на то у хозяина кулачища пудовые, да три помощника с кухни). А дело каменное — дело тяжелое, там и здоровье недюжинное требуется, и выносливость, ведь пока каменную плиту с места на место перетащишь — вспотеет даже то, что по своей природе потеть не должно. Ссорившиеся выхватили ножи, помахали чуток, потом кубарем выкатились из питейного и нарвались на самого ассес-баши. И, вопреки его ожиданиям, не только не испугались, не затряслись, не посторонились, не разбежались в разные стороны, не стали извиняться и предлагать денег, а, наоборот, невзирая на его зуботычины и гневно вытаращенные глаза, осмелились дать ему сдачи и даже слегка пощекотать ножиком. Правда, в ходе ссоры один из каменщиков получил смертельную рану в живот и, умирая прислонившись к стене заведения (хозяин которого все охал и причитал, еще бы, заохашь тут, раз возле заведения один труп да тяжелое ранение немаленького должностного лица. Тут не один мешочек золотых выложить придется, чтобы отстали), прошипел в адрес ассес-баши, которого укладывали на носилки: «Жив еще, дяденька? Так то ничего... я не достал — другой дотянется». Говоря современным языком, «непростая внутривполитическая ситуация усугублялась сложной международной обстановкой». А международная обстановка была — сложнее не бывает. Боязнь усиливающегося государства вчерашних кочевников, страх перед набирающей силу Европой, необходимость отбиваться от африканских племен, наседаящих с юга. Да и то, что было внутри, здорово пошатнулось после восстания Бедреддина. Еще немного, и все полетит в тартарары, а тут еще этот со стихками и под подозрением, то ли любимчик Османа из Гарайолуков, то ли его доверенное лицо. Да и стихи двусмысленные. Не заняться ли на всякий случай, во избежание.. стихотворец-то при случае много вреда принести может... или пользы... но чтобы пользу принес — в оборот взять надо, а времени мало: и с юга напирают, и с севера, а внутри народишко совсем распустился после Бедреддина: чуть прижмешь — огрызается и, скарб распродав, налегке бежит на юга, а оттуда его ни конем, ни саблей не достать. Так, а может, и не так думал султан Муайяд, узнав, что сам Сейид Али Имадеддин Насими пришел в Халев, войдя через Северные ворота, и намекнул кому надо, что неплохо было бы этого человечка прощупать... насчет Османа, например, что, да за-

чем, и не поддерживают ли они отношения письмами... весь Восток лихорадит, того и гляди, то одна, то другая провинция отпасть может, а с отвалившегося кусочка мозаики крах панно и начинается...

Знакомых в Халебе у Насими не было, и он остановился в караван-сараяе. Вещей мало, на подъем легок, самое в караван-сараяе место... Говорят, что в день, когда Насими пришел в город, случилось чудо, для мест тех вовсе не слыханное... выпал снег... пролежал он, правда, недолго и растаял к полудню дня следующего... врут, наверное, хотя всякое случается, может, и выпал, во всяком случае, летописи об этом умалчивают, а что до молвы народной — так не всякому слову доверять можно...

Халеб еще иногда называют Аш-Шахба, серый город, город, окруженный серыми стенами, и вошел в него Насими через Антиохийские ворота, что до сих пор сохранились. В Алеппо есть на что посмотреть, например, джами Ат-Тута, мечеть Туттового дерева, что, по преданию, построена самим халифом Омаром. А большую мечеть Аль-Руми построил султан Муайяд. Он вообще много строил, включая мечеть, что ныне называют его именем в Каире... Обет дал... когда-то на том самом месте тюрьма стояла, в которой будущий султан срок мотал, вот и поклялся, что если выйдет, то снесет тюремный комплекс к чертям и построит на его месте величественную мечеть во славу Аллаха... вышел и слово сдержал, но личный опыт не мешал ему других по тюрьмам держать... лучше бы школу построил, глядишь, и тюрем бы меньше понадобилось...

Неумеренное потребление народной крови порой заканчивается довольно трагично. Вот и султанский наместник, от которого население области претерпело немало обид, умер в мучениях, воя, подобно последней собаке, от неизвестной тогдашним врачам (табибам) болезни. Сначала лицо и руки покрылись синюшными пятнами, больного лихорадило две ночи, и не помогали ни примочки, ни обильное питье, ни отвар из целебных трав, ни розданные беднякам деньги (предварительно с них же и содранные) с наказом молиться за выздоровление. А на третье утро правителя прошиб обильный пот, потом слегка выгнуло вперед, он захрипел и корчился до тех пор, пока из горла не хлынул поток дурной крови. Вот и все. Ему смерть избавление от мук принесла, а населению вилайета (области) — свободу от кровопийцы да беззаконника. Относительную. Так что ты, население, особо не радуйся, еще неизвестно, кого на его место назначат, может так случиться, что ново-назначенный покойного лютостью да жадностью переплюнет... так порой и случается, только, думали, дух переведем, раз уж этого на кладбище свезли, а другой уже тут как тут, на шею залезть норовит... А положеньице-то аховое.. сначала ассес-баши, теперь вот наместник... нет ли тут злого умысла или, упаси Аллах, заговора? То-то же... нет, со всяким, в этот город входящим, осторожнее быть надо...

...Человека извести — дело нехитрое, самое главное, чтобы он повелся, а поведясь — попался... сначала думали подметные письма подбросить, да дело больно сложное, в карман подложить — дело не из легких, да и подложенное из кармана при известном старании всегда выкинуть можно. Быстро так, раз — и готово. Доказывай потом, что в его кармане лежало, нет, тут надо так, чтобы наверняка, чтобы не отвертелся. Ломали головы, хмурили брови, за бороды себя пощипывали, брови морщили, затылки мясистые чесали, все думали, как бы им злое дело половчее повернуть. Не ровен час, выкрутится Насими — сами на его месте окажутся, и спрос не копеечный будет, головой да задом ответят, зад под кнут, а голову на плаху. Думайте, души чернильные, думайте... черт с письмами, подкидывать ничего не станем, так его возьмем. Найдем чего при обыске — в дело пойдет, а нет — на чем спалится, за то и ответ держать будет, наше дело маленькое, судить другие обучены...

...К такому делу надо подойти обстоятельно, не торопясь, кадры подобрать поподлее да поизворотливее, а чтоб кадры из повиновения не вышли — всегда руку на пульсе держать, контролировать, дело-то больно щекотливое... и тот донос про стихи о Джахангире-повелителе, который (страшно подумать!) из ширинки выглядывает, тоже на допросе может в дело пойти. Поэт-доносчик давно умер (то ли от чумы, то ли еще какая неприятность приключилась), да его и не жалко, такого добра в каждом переулке — только свистни, а вот сам донос — даром что за давностью лет и нерадивостью хранения бумага слегка поистлела — всегда к делу приложить можно. Ну и что, что дело в Конье, а не в Халебе было, бумага такая вещь, что и с другого конца света затребовать можно. Каждый клочок при случае в дело пойдет, вину или невиновность доказывая. а чтобы наверняка извести, чтобы не вывернулся — надо что-то страшное и беспроняжное придумать. Решено было выследить Насими, благо дело нехитрое, и в обувь вместо стелек страницы Корана подложить.. а все прочее — дело техники...

Было бы желание плюс средства в наличии, а стукач под такое дело всегда найдется, и не оскудеет ими лик земной до самого Дня гнева. Да и в тот день, поди, желающих настучать хоть отбавляй будет... если верить летописям, звали негодяя Ибн аль-Шангаш Алханафи (Алханадани, согласно другим источникам). Он взялся за дело не мешкая, с неделю наблюдал да выслеживал, куда Насими днем ходит, а куда вечером, с кем дружбу водит, а кого сторонится, где ему скатерку для еды стелют, где омовение совершает, куда молиться пойдет и в какой квартал в гости зовут. И не проглядел, когда Насими вошел в ворота дома, где в тот вечер должна была проходить встреча ценителей поэзии. И стоило Насими войти в ворота, как аль-Шангаш прошмыгнул вслед за ним, потом намеренно замешкался, чтобы чуть приотстать. Дождавшись, когда Насими снимет сапоги перед тем, как зайти в помещение, просто вынул из его сапог стельки, а вместо них подложил страницы, вырванные из Корана. По завершении же злого дела шепнул кому надо, и тот кто надо сразу пошел за стражей, а аль-Шангаш вошел в собрание, сел тихонечко и, улучив момент, уважительно обратился к Насими — по славе, мол, и честь: вот скажи, Сейид Али Имадеддин Насими, человек, талантом взысканный, ученый, учивший и обучавшийся, много стран исхивший и много чего повидавший, четыре языка ведающий, на трех из них стихи слагающий (не зря они так время тянули, ой, не зря, страже, чтобы подойти, всегда время нужно), что, по-твоему, надо сделать с человеком, который страницы Священного Корана как стельки для собственных туфель использует? Умучить, живьем ли сжечь или так оставить, пусть его совесть самого заест, а Аллах Всевышний без нашей помощи накажет? Не понравился вопрос Насими, он, в конце концов, не законник, не судья, праву учен самую малость, да и сам вопрос непонятный какой-то: кому ж такое в голову взбретет? Но ответил взвешенно, подумав: наказание огнем есть прерогатива Аллаха, и никто другой этого применить да не посмеет, а оставить зло и кощунство безнаказанным означает потворствовать ему, что к приумножению привести может. Потому такого человека надо опозорить и содрать с него кожу. Если же я ошибаюсь (с почтением склонил голову в сторону нескольких присутствовавших там законников, потому что поэзию всякие люди любят) — пусть те, кто знает лучше, меня поправят... Страже любая дверь нипочем, не открывающееся выламывают, но тут ничего и выламывать не пришлось: ворота приоткрыты были, да и двери не заперты. Увидев стражу, благо и народу в свидетели вокруг хватало, вскричал аль-Шангаш: вот ты, Насими, сам себе приговор и вынес, никто тебя за язык не тянул, смотрите на обувь его, что он там вместо стелек носит... удалась провокация, провокации против людей вроде Насими всегда удаются, они ж только другим советы давать

мастера, а свои дела у них всегда запутаны, чем угодно думают, кроме головы, как гром грянет — дергаться начинают, может, и выпутался бы Насими, будь он похладнокровнее, но какое уж тут хладнокровие, раз подстава — страшнее не бывает, и яма из тех, куда попасть легко, а выбраться — почти невозможно... будь ты хоть двадцать раз поэт, беда пришла, да такая беда, что человека на раз через колено ломает... на ночь глядя и определили в одиночную камеру, чтоб места подумать хватило — а не признаться ли без постороннего вмешательства самому, пока не заставили...

...Темнота и сырость как нельзя к искренности да покаянию располагают, даже если каяться не в чем, а предрассветная пора — для допроса пора удобная. Вот сидит человек в яме или камере, слушает, как вода о камень стучит: кап-кап, кап-кап, а мысли его уже не прыг-прыг, как при задержании, за что да почему, пришли мысли в порядок, уступили место здоровым думам да размышлениям. Но и те, кто допрашивают, мыслят основательно: если не спал — то думал-размышлял, раз думал — то есть шанс, что размяк, а если размяк — так самое время его на допрос вести, может, и без костей ломания признается, если допрашивающим повезет, конечно... при известном старании... нет, не позвали... а неизвестность — допросу первая помощница... сиди, Имадеддин, раз уж попался, и по дороге в темницу, руку вырвав, убежать не получилось.. не додумался, чего уж там...

...Жил да был человек. Не хуже других жил, честное слово. И забор такой же, и стены, известкой беленные, по праздникам мясо в плове, по будням — каша пшенная. Бегал в детстве с обручем от бочки, купался в арыке, так кто в том возрасте не лоботрясничает? Но миновало детство, пронеслось воздушным змеем отрочество, а вскоре и юность закончилась... Раз вырос — пора жениться, женился раз, двух детей завел, да как-то наскучило все, обрыдло, сплюнули обоюдно и разбежались себе с Богом, спустя год женился в другой раз, снова прижил двойню (такая благодать не каждому выпадает, не иначе как возлюбил его Всевышний, коль за один раз сразу двумя одарил), но что-то снова то ли не то оказалось, то ли просто не заладилось. Деваться некуда, и не привязан вроде, а визжать почему-то повизгом охота... и тут как раз набор в действующую армию... Ну как тут на службу шахскую не пойти, как от вод подступивших не сбежать? Правильно, скорей от безысходности да с безделья, чем от храбрости безрассудной... подался в сотню, пообтерся, научился и строем ходить, и доспехи до блеска песком надраивать, и сабельные выпады отражать, и самому рубящие удары наносить при случае, а также овладел прехитростями заточки... это только со стороны кажется, что всего-то делов — води себе камушком по лезвию... это целая наука, какой камень для какого металла выбрать, как часто его смачивать и что мочить, металл или камень, как наклон держать да чем по чему водить: то ли камнем по лезвию, то ли лезвием по камню, да и направление — к себе или от себя, все от типа сабли и ее назначения зависит... вперед наш новый знакомый не лез, не высывался, ни перед кем выслужиться не старался, но и от сослуживцев не отставал, дело свое знал, лямку тянул делово и упрямо, и как начались стычки-столкновения да прочие военные неприятности, быстро в сотники выбился... Из сотников прямая дорога наверх, некоторые до куда больших чинов добирались, а самые прыткие иногда даже на шахский трон попадали... время такое, карьерному росту способствовало: вот как лихолетье одногодок выкосит, так и начнет судьба первого, кто под руку попался, из колоды вытаскивать да вверх толкать... и вовсе не все и вся от везения зависело... поднялся человек на зависть многим, но, поднявшись, совести не растерял, на это, видно, особое умение нужно.. звали его Фатхуддин аль-Малики, из простых, из сотников, а гляди, куда взобрался.. верховный кадий... решения старал-

ся выносить честно, потому как Бога боялся и совестью мучился — с судьи при случае, ТАМ спрос строже будет...

...Коллегиально решать судьбу человека сподручнее. Всегда в случае чего есть шанс отгавкаться, мол, лично я против всего этого был, они сами все затеяли, а меня просто для ровного счета пригласили... По делу Насими тоже целое собрание созывать пришлось, никто сам решения выносить не хотел, потому что, во-первых, нового наместника султан еще не назначил, сам его величество далеко, в Египте, а тут еще и обыск кое-какие результаты принес. Письма обнаружили. Не одно и не два, а целую связку. И все от Османа Гарайолука. Ничего особого в них не было, Осман все звал Насими обратно, в Диярбекир, должностью соблазнял да простором административным, но все-таки... Дело-то вырисовывалось политическое. Поди угадай, куда ветер дует и что у султана Муайяда на уме. Отпускать Насими нельзя, головы полетят, да и свидетелей предъявленного обвинения, почитай, с два десятка, а казнить его без санкции сверху тоже боязно. А единолично решение принять — и того страшнее. А потому впятером решали — впятером оно все ж безопаснее. Шейх ибн Хатиб аль-Насири, шейх Иззуддин ибн Аминуддовле, верховный кадий Фатхуддин аль-Малики, его коллега Шихабуддин аль-Ханбали и шейх ибн Хилал, по прозвищу Лисоглазый, за разрез глаз и предусмотрительность. Мужики все ученые, искушены как в делах дворцовых, так и в казусах юридических. Не первый год суд правят, суд праведный, да на расправу скорый, так ведется Игра, и так играют те, кому играть позволено...

Ибн Хилал. Этот человек достоин смерти.

Аль-Малики. Казнь на основании доноса? Это поэт. И я даже допускаю, что он ляпнул что-то в состоянии поэтического восторга и вдохновения, но чтобы вот так... страницы Корана. Нет, нет... Да и не доверяю я этому аль-Шангашу.

Ибн Хилал. А при чем тут твое доверие?

Аль-Малики. Великий грех проливать невинную кровь, я допускаю, что это зависть и оговор.

Ибн Хилал. Зависть к чему?

Аль-Малики. А ты стихи его почитай. Или послушай, на слух они даже лучше, чем с бумаги. Не зря их весь Алеппо распевает.

Ибн Хилал. Стихи тут ни при чем. Хотя уверен, что при желании и в его стихах можно найти повод для наказания, и не один.

Аль-Малики. Да будет по слову твоему, ибн Хилал, но скажи, напишешь ли ты обвинительный приговор собственноручно?

Ибн Хилал. Напишу. А вы его утвердите и подпишете.

Аль-Малики. Если будем согласны с написанным.

(Ибн Хилал что-то пишет на листе бумаги, потом отдает ее аль-Малики, тот внимательно изугает написанное и передает дальше. Кадии и шейх, ознакомившись, отрицательно кагают головами.)

Аль-Малики. Видишь, ибн Хилал, не по душе твой приговор собранию. Ни уважаемые шейхи, ни почтенные кадии не находят Насими виновным в богохульстве, ереси и отрицании Бога. А доносы аль-Шангаша и Джихангира — основание недостаточное для столь сурового наказания.

Ибн Хилал. А письма, письма от Османа?

Аль-Малики. Об том рассуждать нет полномочий ни у меня, ни у тебя, ни у

почтенного собрания, при всем к нему уважении. Мы призваны рассматривать дела, а не домыслы, что доносами наваяны. В письмах же от Османа я крамолы не вижу, он писал их Насими, как обычно пишут старому знакомому, и предлагал поселиться в Диярбекире. Потому предлагаю следующее: до поры оставить Насими под стражей, пусть его допросят и о выведенном нам доложат, потом пусть он перед нами предстанет, после чего пошлем гонца к султану Муайяду, да продлит Аллах его годы, ему видней будет, лежит ли вина на Насими или нет. Дело к вере отношения не имеет, оснований не вижу.

Ибн Хилал. Непрост ты, великий кадий, ой непрост.

Аль-Малики. Так не первый год живу и не второй день дела рассматриваю.

Ибн Хилал. Я не к тому. Просто это дело ты рассматриваешь, словно в темноте бредешь, вперед себя руки выставив. Чтоб ненароком на гнев султана не наткнуться. Приговорить боишься — вдруг султану не угодишь, и отпустить не рискуешь, чтобы под гнев не попасть. Вот и решил его до поры в темнице подержать, ведь пока письмо до Египта дойдет, в темнице той всякое случиться может. Или неправ?

Аль-Малики. Неправ, ибн Хилал. И клянусь Аллахом, глубоко твое заблуждение. Мне стихи его нравятся. Я свое слово сказал, уважаемые. Потому предлагаю на сегодня закончить, и без того время позднее.

Ибн Хилал. Да будет по слову твоему, почтенный аль-Малики. Соберемся в том же составе после того, как Насими допросят. И перед нами в том отчитаются.

Аль-Малики. Спасибо, уважил мои седины. Потому не взыщу с тебя за упреки в страхе перед гневом султана.

Ибн Хилал. Не взыщи. Знаю, что и на тебя доносы по три штуки в месяц приходят.

Аль-Малики. И ты хитер, ибн Хилал. Не зря тебя в народе Лисоглазым прозвали. Соберемся в том же составе, дело говоришь. И обязательно Насими пригласим да слушаем. А там — султан мудр, а Аллах милостив...

...Как аль-Малики порешил, так оно и случилось: помариновали Насими парутройку дней, думали, вот размякнет, сам все как на духу выложит, и что было, и чего не было, а как минул срок отмерянный, повели на допрос. довели, подталкивая, до двери, за которой сидела пара-тройка чиновников небольшого ранга, чья работа заключалась в ведении допросов. И в прочих делах, служащих добыче доказательств... Пыльные человечки со стеклянными глазами, что в самую душу заглядывают, стоишь, если сесть не предложили, вины за собой не чуешь, а все равно дрожь пробирает...

— Так так. Насими. Сеид Али Имадеддин. Совершенство, избранница, чудо любви, диво страсти, Ты — кумир мой, Кааба, ты — гурия райского сада. Кумир, Кааба. И все это про чудо любви. Твое?

— Да. Это словесные обороты. Они испокон веков в литературе приняты. Особенно в поэзии.

— За такие обороты и не в такой оборот берут. Очень на богохульство похоже. Твое, спрашиваю?

— Мое. Не краденое же, стыдиться нечего.

— Я б на твоём месте этим не гордился. Ты лучше честно скажи, что за помыслы за этими поэтическими оборотами сокрыты.

— Когда-то одна девушка упрекнула меня в том, что я всегда за нее домысливаю. Я объяснил это тем, что она вечно чего-то недоговаривала. А теперь меня обвиняют в том, что я чего-то недоговариваю, и на том основании за меня домысливают.

- Ты на вопросы отвечать будешь?
- Стихи уже ответили. На все вопросы.
- Ладно, к ним мы еще вернемся, если понадобится. А чему ты души юные в медресе учил?
- Тому же, чему меня обучили. Слову Аллаха и пророка Его.
- Ты перевернул слово Божье и сеял смуту, выдавая свои слова за слова пророка.
- Я не говорил ни слова неправды. Разве не наш пророк говорил о запрете мужчинам носить золото и шелковые одежды? Разве он не говорил, что нет преграды между Богом и молитвой угнетенного? Разве не он и те, кто были до него, прокляли пожирателей имущества вдовы и сироты?
- А что ты скажешь насчет страниц Священного Корана в твоих башмаках?
- Я уже сказал, и до того, как меня сюда привели, и снова повторю: сделавший это заслуживает жесточайшего наказания и позора.
- Ты вроде говорил что-то насчет снятия кожи?
- Да. И от слов своих не отступаю. В чем клянусь Аллахом и подножием престола Его.
- А кто может уверить нас в том, что ты человек добродетельный и благонамеренный, чтобы твоя клятва была принята? Страницы Корана в башмаках — очень серьезная улика, что бы ты теперь ни говорил и как бы ты теперь ни клялся. Да и стражники говорят, что, когда тебя брали, от тебя сильно вином пахло.
- Оставляю эти слова на их совести. А что до вина — так и ты, говорят, его не чурешься. И маковым соком здесь тянет.
- Твое дело маленькое — не о моих грехах говорить, а думать, как бы самому оправдаться. Тут на днях еще одну бумажку доставили. Оскорбление величества.
- Оскорбление величества? Что за бред и при чем тут я?
- Ну как же. Вот: «...и упомянул в одном четверостишии слова “джихангир” (повелитель) и “ширинка”, что есть явное неуважение и оскорбительное поношение тех, кому власть дарована от Всевышнего». Ну, что на это скажешь?
- Слог отвратительный, вот что скажу. Поношение всегда оскорбительно. Оскорбительное поношение... Знаю я, кто этот донос написал. Риторике у цирюльника учился, а стихосложению у торговцев кизяком. Вот и проиграл соревнование. А проиграв, донос написал. От злобы и зависти. Его Джихангиром звали, я его имя в одном четверостишии с ширинкой упомянул.
- Ну, это еще доказать надо. А оскорбление величества — вот оно, передо мной, на бумаге. А если что на бумаге записано, то это, считай, уже доказано. А твои слова кто подтвердить может?
- Да хоть бы конийский распорядитель. Если от старости не умер. И дюжина поэтов, что там присутствовала. Или Ходжа Насреддин. В Конье мы вместе были.
- Славный свидетель, нечего сказать. Для него, для твоего Ходжи, своя веревка найдется, а тебе самое время о своей шее подумать.
- Все в руке Господа, и жизнь и смерть, и веревка и отсрочка. Я свое слово сказал, поклялся именем Господа, что не носил в башмаках страниц Корана, а донос Джихангира Дуньямалы — так я все объяснил. Зависть и бездарность человеческая. Не исключу, что и подложившим мне в башмаки страницы Благородного Свитка двигало то же самое.
- Красиво говоришь, Имадеддин. Только история слишком некрасивая. Не верю я тебе. Да и не хочу верить. Мало ли что у вас, поэтов, на уме да в душе. Тьма да бездна рифмованная.
- Что на уме — то ты уже слышал, не скрываю, а что в душе — то на бумагу излито да среди людей читано.

- По базарам да чайханам?
- Во многих местах случалось.
- И даже во дворцах?
- Немного. Раза два или три, не больше.
- Где? В каких дворцах? При дворах каких государей? Сам ли явился или по приглашению?
- Ты задаешь вопросы, ответы на которые тебе известны лучше, чем кому бы то ни было. По дворцам без приглашения не ходят, все одно не пустят. И ладно бы только в шею вытолкали.
- Да, могут и с живого кожу снять. Не так ли, Насими? Твои слова?
- Мои. И я от них отказываться не намерен. Осквернивший Коран да будет проклят и опозорен и в этом, и в будущем мире.
- Язык человека, чтобы остальное тело от боли спасти или вышестоящему угодить, что угодно сказать может. Ладно. Устал я от тебя, пусть диван решает, что с тобой делать, а я и так вижу. Упорствуешь в злодеянии, отпираешься, а это только вину усугубляет. Ты бы раскаялся, признался, может, и отнеслись бы к тебе со снисхождением, мол, действовал в поэтическом восторге, не имел дурных намерений, а если и кощунствовал, то только по молодости, недомыслию и наущению. И поведал бы нам, что у Османа Гарайолука был по его, Османа, приглашению и подговаривал он тебя к богохульству и козням против повелителя правоверных, султана Муайяда, да продлит его дни всемогущий Аллах. Помогите нам, и мы тебе помогать станем. А иначе — петля в лучшем случае. Так что ты подумай на досуге, но не затягивай, времени у тебя — самая малость осталась. Да, и еще, в твоей комнате в караван-сараяе сейчас обыск идет, так что что-нибудь мы да найдем. Уведите.

...Что, Насими, не нравится? Вон кисти рук, кровообращение восстанавливая, растираешь ежеминутно, занемели, поди, если их за спиной веревками стянуть... а не болтай чего попало при ком ни попадая, не молчи там, где громко одобрение выражать полагается, не шмыгай носом, когда все вокруг улыбаются, не хлопай ушами, когда все вокруг деньги зарабатывают... поделом, получается, выводов не делаешь, не в первый же раз тебя в застенки кидают... правда, такого обвинения никогда не предъявляли... а капли воды, что по сырой стене сползают, очень на слезы человеческие похожи... тюрьма, тут многие плакали, не ты первый, не ты и последний, пока есть решетки на окнах, кто-нибудь в них нет-нет руками изнутри и вцепится...

...Случилось все по слову аль-Малики. Диван, с одной стороны, ожидал реакции султана, а с другой — того, что Насими в заключении расколется и сам попросится на допрос. Истоскуется без бумаги, соскучится по ветру, и развяжет ему язык та веревка, что руки за спиной стягивала. А если невиновен окажется да султан настаивать не станет — отпустим, не возьмем греха на душу. Но подождем, что султан решит, как он решит, так ему перед Богом и ответ нести, с государя и спрос иной, вроде как с поэта... ладно, приведите Насими, диван собрался...

- Ну что расскажешь?
- Для начала поздороваюсь. Здравствуйте. А что рассказывать? Вызвали — спрашивайте.
- И тебе здравствовать. Смотрели вот стихи, письма. Думали. Поговорить решили, расспросить кое о чем. Например, когда и зачем с Османом Гарайолуком встречался, о чем разговор шел.

— Давно встречались, я уже и не припомню, когда точно. А говорили о школах и литературе. Он предлагал мне остаться в Диярбекире.

— А чего ж ты отказался?

— Была бы моя воля, я и в Алеппо долго не задерживался бы. Не люблю я долго на одном месте сидеть, хотя порой и приходилось.

— Что ж так?

— Не по своей воле.

— Хорошо. О школах, говоришь. А о Боге что в мечетях и чайханах болтал?

— Поклонение Ему без знания содержит вреда больше, чем пользы... это не я говорил, это говорил наш пророк и посланник... изучайте, читайте, идите за три моря, если это принесет вам знание, и не зря первая ниспосланная (сура) начиналась со слова «Читай» и называлась «Калам»...

— Тут не глупее тебя люди собрались. Знают, что и когда ниспослано было.

— Зачем тогда под замком держите? Я уже сказал все, что знаю.

— Но ты и словом не обмолвился о том, о чем тебя спрашивали.

— Об Османе ответил, о Боге тоже.

— Стихи твои двусмысленны, мысли опасны. Это, например, звучит подозрительно: «Знай, человек, в любые времена лишь прозорливым истина видна, познал ты сам себя — стал прозорливым, сам не познал себя — твоя вина».

— И что тут не так?

— Что тут так, а что не так — мы решаем, не первый день живешь, не в первый раз пишешь, из написанного вину извлечь — дело легкое. Это, например: «И толковал богач всю жизнь об этом и о том, столь скудной мысль была, а речь пустопорожней», по-разному истолковать можно.

— А Аллаха не страшитесь — слова написанные или сказанные по-иному истолковывать?

— Мы и другого страшимся.

— И не знаете, кого больше бояться? Власти земной или небесной?

— Тебя отпускать глупо. Дел и делишек за тобой водится предостаточно — от связи с хуруфитами до стихов смущающих, двусмысленных. Доносы, что ты в людных местах не раз восхвалял Мансур аль-Халладжа.

— Пророк не велел верить доносам, а имя Мансура я не славил. Просто в стихах пару раз упомянул.

— Пророк не велел, а вот султан спросить может. И как, например, ты объяснишь это: «Твои глаза — Коран, и на земле есть лишь любовь, и ничего иного»?

— Интересно, почему вы не обращаете внимания на другие строки, например: «К таухиду¹⁸ стремясь, молви эти два слова, Бога нет, кроме Бога Единого — святее не выискать зова».

— Изворотлив ты. Не всякий написанное наизусть помнит.

— Я страшен вам, а не изворотлив. Я страшен вам потому, что из всех здесь собравшихся один верю в Него по-настоящему, так, как Он того от нас требует. И вера моя сильнее вашей. Сильнее веры любого, живущего в этом городе. Простой народ, который вы соберете на площади, верит потому, что вы отняли у него все, кроме надежды на Всевышнего. А сами вы верите в Него только потому, что боитесь потерять жирную баранину на блюдах из китайской глины¹⁹, обращенные к вам и внимающие лица простолюдинов да халаты, что по краям золотом расшиты. Вы просто боитесь потерять все это, и цена веры вашей мне известна. А мне известное, Ему и подавно ведомо.

— За одно предложение это, за одно только сопоставление это ты смерти достоин.

¹⁸ Строгое единобожие.

¹⁹ Фарфор.

- Знаю... мысли ваши...
- Боишься?
- Истины? Нет. Я и есть частичка ее, я и есть частичка Его.
- Ты есть истина?
- Я часть ее.. Она даже в вас есть. Даже в вас, несмотря на то, что превратили вы место суда в место беззакония и место правды — в приют неправды.
- Стража, уведите его.

...И подталкивала Насими стража в спину копьями, и тыкала в затылок эфесами сабель кривых, не по злобе, а порядка ради, чтобы суд творящие, усердие заметив, оценили или, наоборот, усердия не заметив, не взыскали при случае, куда денешься — служба... А из зала выйдя да до лестницы, что в подземелье ведет, дойдя, извинялись долго, пойми, мол, Насими, да зла не держи: не свидетельствуй против нас в День гнева Господня, сам понимаешь, дети у нас, жены, податься некуда, вот и пошли за куском горьким, сиротским в вертухаи — и род опозорили, и имя стыдом прикрыли, ты прости нас, поэт, горемычных, не со зла мы это, и светильник в зиндан принесем, и одеяло поновей да посуше, и тюфяк раз в два дня менять станем, и как начальство за ворота — вне очереди на прогулку выведем... а жизнь в зиндане стиснута в промежутки времени, только если в зиндан свет проникает. А если света нет и не предвидится — то время можно по-всякому мерить. Если сторожа со шмоном пришли — считай, дня два миновало, если еду принесли — день Божий прошел, а если принесли в зиндан два хурджина с едой — то друзья да родные не забыли и позаботились... а не можешь счет времени по передачам вести, а стражники шмонать вконец обленились — сиди себе возле стеночки на тюфяке, подбородок к коленям прижав, стенами интересуйся, читай, что на них до тебя сидевшие написали, думай, что сам напишешь, и гадай, что те, кто после тебя сюда сядет, на сырости нацарапают... не обманули стражники: Бога убоявшись, и одеяло принесли, и тюфяк меняли, со светильником, правда, накладочка вышла: расколотили при переноске вдребезги, оступились на ступеньках сырых... была, конечно, смена, где пара охранников постоянно на него зубами скрежетала, не любили они его: то еду самому последнему принесут, то, будто бы невзначай, на лежак наступят, пакостили по мелочи... а он сядет и шепчет, так шепчет, чтобы сокамерникам не мешать... охрана войдет, а Насими из угла читает нараспев коранический аят: «И поставил Я людей порочных властителями всякого селенья», чем приводил охрану в совершенное бешенство... шептал, как бы в забытыи, повторяя снова и снова: «И поставил Я людей...» Охранники из бестыжих очень недовольны были, но деваться некуда — сура из Священного Корана, не подкопаешься. Не дай Бог затрещину отвесишь — так самому за ересь да оскорбление величия Божьего загреметь недолго... ладно, бормочи, все равно наша взяла... вот и получается, что слово Божье — словом Божьим, а наше слово тут, возле камеры, посильней будет. А что с тобой дальше случится — то одному Богу ведомо, а что Он ведает — как письмо султана придет, ясно станет...

...А под вечер город устал — так всегда случается с теми, кто работает на износ весь день. Он прикрыл глаза, смотрел на закат сквозь густые ресницы, тяжело дышал, ему так не хватало простора и воздуха, ему хотелось стряхнуть с себя пыль, расправить плечи, потянуться, похрустеть позвоночником и, просто сидя на холмах, любоваться закатом. Но такая роскошь ему не по карману — за нее придется заплатить разрушенными стенами и поваленными минаретами, высохшими каналами и надломленными деревьями, опустевшими площадями и базарами, кузницами с погасшими горнами и сладковатым запахом разлагающихся трупов... впрочем, чего-чего, а запаха трупов ему всегда хватало: всех казненных сбрасывали прямо в городской ров. Подержав пару дней на центральной площади, для устрашения.

Город просто устал — такое иногда случается не только с людьми... пять тысяч лет — это очень большой срок... ложатся улицы морщинами, стоят стены дыбом, и рассыпаны храмы веснушками, а подбородок рвом очерчен, тем самым, куда трупы казненных скидывают, и лежат там они тихо-тихо, до самого Дня воскрешения, до самой трубы ангела, до дня, когда мертвые восстанут, до часа, когда погребенную заживо девочку и мужчину с содранной до сах костей кожей спросят, за совершение какого греха они были убиты...

...По решению султана, немедленно утвержденному лицами, присутствовавшими при вскрытии полученного письма, а именно: шейхом ибн Хатибом аль-Насири, шейхом Иззудином ибн Аминуддовле, верховным кади Фатхудином аль-Малики, его коллегой Шихабудином аль-Ханбали и шейхом ибн Хилалом, по прозвищу Лисоглазый, — Насими был приговорен к снятию кожи, после чего его отрубленные руки и ноги были посланы для устрашения владыкам краев сопредельных. Осману Гарайолуку, например, чтоб даже не думал своей политики против государства мамелюков гнуть: гляди, мол, что вчера с Насими было, — то при случае завтра с тобой приключиться может... тело же, без рук, ног и кожи, на семь дней оставили на площади, для внушения страха врагам внутренним, потому как врагам внешним напоминание уже отослали.

10

...Распевая десятую свою песенку, но когда он спел последнюю, — этого не знает никто...

Шарль Де Костер. Легенда об Уленишигеле

Почти заканчивая работу над этой повестью, я случайно натолкнулся на преинтереснейший текст одного средневекового историка... просто процитирую, оставляя право делать выводы и домысливать самостоятельно: «*Насими находился в Антабе²⁰ и был близким другом вали (губернатора). Недруги и завистники поэта, решив поссорить его с городским головой, тайком вложили в обувь Насими кусок пергамента с текстом коранической суры “Йа син”. На суде Насими был приговорен к лишению кожи, которую он будто бы взял с собой и отправился в Халеб*». То ли легенда, то ли иносказание, то ли еще что — не знаю, но мне очень хочется верить, что все было именно так, и Насими не умер, даже лишившись собственной кожи, а добравшись до Халеба, отсиделся у какой-нибудь одинокой женщины с большой и упругой грудью, а по весне, раны подлечив, отправился странствовать дальше:

В меня вместятся оба мира,
Но в этот мир
Я не вмещусь.

...Говорят, Ходжа, узнав о казни Насими, примчался в Халеб ровно через три дня и даже попытался поднять там бунт, всякую правду ремесленникам нашептывая... но это уже совершенно другая история — о мусульманском бунте, в котором пощады и смысла едва ли больше, чем в восстании православных... тут жгут кипарисы и взламывают двери гаремов, а там — терема в клочья разносят и приказных дьяков в проруби топят... после двух дней беспорядков султанские войска вытеснили восставших из города и, загнав в ущелье, перебили из луков. Ходже удалось уйти и отсидеться в скалах, он несколько раз чуть было не выдал себя скрипом зу-

²⁰ Антаб — город, находившийся примерно между Алеппо и Антиохией.

бовным, хрипом гортанным да дыханием перехваченным. А может, и ногами судорожно дергал, осыпание камешков вызывая. Все о Насими сожалел матерно да отомстить желал, так желал, что аж пыль на зубах скрипела, словно в мечтах он уже город проклятый с лица земли стер и, над властями вдоволь в зиндане поглумившись, на рынок рабов свез, вместе с детьми и женами. Выбравшись из ущелья да патрули миновав, сразу в Акшехир направился и с тех пор сидел в том Акшехире тихо и праведно, изредка после молитвы вечерней «и свет, что пронзит все людские сердца» себе под нос бормоча да прошлое вспоминая... в Рамадан же обязательно за душу Насими молитвы возносил да нищую братию из отложенного за год одеял, с просьбой молиться за поэта ободранного... в Акшехире он и скончался спустя десяток лет, преставился, как и подобает доброму мусульманину, в окружении жены, детей и внуков... говорят, своего старшего сына, первенца, он назвал Имадеддин... в память Имадеддина Насими, Насими из Ширвана, Насими Шемахинского... Мало ли что на Востоке говорят... С самой ведь казнью Насими тоже несколько легенд связано. Если верить одной из них, то помощник кадия, в гневе праведном бородой потрясая, возвопил прегромко: «Это Насими, отступник, флегма его ядовита, и да будет проклято и сожжено место, куда падет кровь человека сего». А кровь при казни всегда в разные стороны брызжет. И попала капля крови казнимого на палец вопившего — волной пошел ропот по толпе люда черного, давай, мол, исполняй сказанное, пожалуйста палец на жаровню. Мы, мол, молчали, Насими — тот если и кричал, то от боли нестерпимой, а слово о крови и месте тобой брошено было. Завертелся тут человек с должностью, не надо, мол, слова мои буквально понимать, правоверные, что вы, в самом деле, ну пролилась кровь его на песок сухой, не будем же мы песок сжигать, не горит он, песок, ни с кровью, ни без крови. Пороптал народ и замолк, смущенный видом стражников зверовидных, что площадь оцепили: доспехи начищены, щиты на солнце так и сверкают, поди побунтуй — враз порядок наведут да к миру принудят... древко копья в межреберье — самое первое дело... пришлось промолчать.. так что не все обещанное исполняется, не все пролитое загорается, но все прблитое зачтется обязательно, не тут, так там... По слухам, через два года помощника кадия обвинили в ереси и государственной измене и тихонечко, чтобы не было великого шума, придушили в яме...

По прошествии трехсот лет Насими таки удалось утащить за собой на тот свет еще пару человек. Поэта Армении Будаха Амтеци приговорили к сожжению на костре за чтение стихов «бунтовщика и грешника Насими и за последовавшее за чтением взбудораживание черни»... Хачатура Дигранеци, другого армянского поэта, за пьянство и громогласное распевание стихов приговорили к тому же, к чему и Насими... Принял католикос всех армян, или патриарх Стамбульский, на грудь вина дорогущего, затынулся табаком ароматным и подмахнул приговор подписью размашистой, чернилами брызгая... не читая, подписал, наверное... потому как раз есть хоть слово про Насими, значит, что-то против порядков устоявшихся, про все к ногам женщины, а не церкви-матери, про миры разные, в одном человеке единые, а какие там миры разные, когда Бог есть Бог, а мир есть дьявол, какие такие вселенные в человеке одном. Человек такой бесом одержим, не иначе... беса изгоним, а человека накажем, для этого у нас арсенал целый для нужд разнообразных. Под колокольный звон, под крики глашатая, при большом стечении народа, с Божия попуска и властей светских позволения... свиток со стихами же перед тем на спине наказуемого сжечь уместно, в назидание прочим, современникам и потомкам далеким... Так что, Насими: «Свиткам же со стихами твоими не раз и не два суждено сожженными быть, разорванными да растоптанными... многих участь твоя за слова или восклицания, что с твоими схожи, постигнет, многие еще поля-

гут, кто на плаху, кто от болезни сердечной, а все за то, что стихи твои повторять будут, перепевать да переиначивать... все по следам твоим, Насими».

Послесловие

...Тебе, Насими, все равно спасибо... от надежды спасибо, громкое, раскатистое, что на шесть веков вперед раскатилось и дальше катиться будет, от надежды, которая выжила, выкрутилась и, затоптанной будучи, все равно на ноги поднялась. Ты ведь очень всем помог, ты и до сих помогать продолжаешь, потому что если на весь Восток когда-то один такой Насими был, то, даст Бог, и второй появится... маленький Насими из Азербайджана, ободранный, окровавленный, рот болью сведенный, мышцы обнажены, жилы провисом висят, а красненькое вокруг так и хлещет на песок восточный, горячий, потечет и исчезнет... да люди вокруг, толпа ревущая, глаза горящие, зубы стиснутые, лица разные, кто улыбкой обнажен, кто отворачивается, потому как нервишками слаб... которые просто посмотреть, которых силой пригнали, кто посочувствовать пришел, а кому домой идти не хотелось, к жене постылой да стенам обрыдлым... У тебя, Насими, и сны хорошие были, и жизнь интереснее не бывает, а вот долгов не осталось, ни одного... что мог, то сделал, чего не смог — то хоть на зуб да пальцем попробовал, расковырял, оплатил сны свои кровью собственной, да так, что после тебя пришедшие, в кровь ту перья обмакнув, свое писать дерзновенно помышляют, думают, декламируют, головами мотают пьянственно, а протрезвев, участи твоей себе не желая, славе слезно завидуют... а как поймут, что славы такой без участи твоей не бывает и быть не может, — призадумаются... и закачаются сожалеючи головы, на плечах непрочно сидящие, головы, все-все-все тщательно взвешивающие, думающие, лысеющие или кудрявые, не без сожаления закачаются, ведь славы хочется, на цитаты быть растащенным еще больше хочется, всего хочется, одного только никак не желается — чтоб песок желтый красным окрасился...

Твою подлинную могилу мне так никто и не показал, а на приманку для туристов, которые слышали о тебе краем уха (в виде мавзолея с арабской вязью и табличкой на английском языке: «Здесь покоится один из самых великих мыслителей исламского мира — Имадеддин Насими»), я не купился... тебя никто так похоронить не посмел бы... да мало что похоронить, так еще и надпись по тем временам дерзновенную высечь, а позже... может, вообще позабыли, как ты выглядел... на месте рва, куда сбрасывали тела казненных, теперь городской квартал... века девятнадцатого... обычный старый квартал обычного восточного города... изжелта-белые стены, одно-трехэтажные домишки, белье на веревках да лавки с мелочовкой... вот и весь Насими... ну разве что памятник на одной из бакинских площадей да кино, в году тысяча девятьсот семьдесят четвертом снятое...

...Не зря ты взял себе такой псевдоним... Насими, «насм», «утренний ветер», «душа». Был ты легок, как утренний ветер, и тяжел, как мысли, им навеваемые, был ты с душой и сердцем, что бьется, как бабочка, прикрытая ладонью, ты много кричал, ты махал руками, ты подтверждал свое восточное происхождение словом и делом, уголками глаз и расшитой обувью, ты многого хотел, подолгу мечтал, ты так хотел, чтобы ее руки навсегда остались тонкими, чтобы она каждый вечер клала их тебе на плечи, ерошила волосы и тыкалась носиком в щеку, ты так хотел, чтобы твой вдох совпадал с ее выдохом и чтобы она ушла, везде оставив свой запах, везде-везде, от кипариса до дороги, после чего ты хотел написать свою лучшую вещь и окончательно рассориться с критиками... а потом ты уже был согласен на то, чтобы они содрали с тебя кожу, Насими, не так ли? Конечно, согласен, заранее согласен, на всю жизнь согласен, а потому — пусть снимают... Всем зачтется...